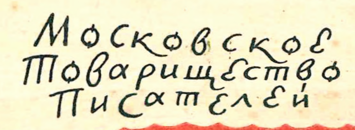
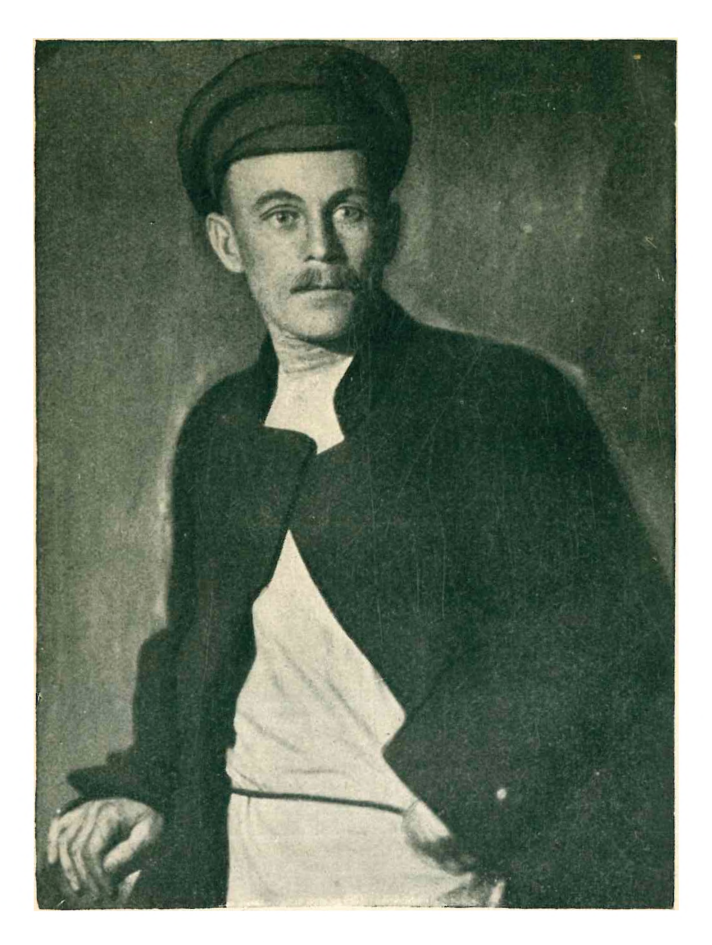
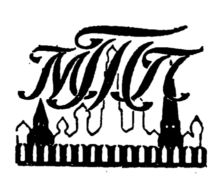
Михаил
Волков

# Наопако

Московское
Товарищество
Писателей







МИХАИЛ ВОЛКОВ

# СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

## ТОМ I

1918 — 1922

СО СТАТЬЕЙ Г. ЯКУБОВСКОГО
И ПОРТРЕТОМ АВТОРА

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

МИХАИЛ ВОЛКОВ

# НАОПАКО

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

*ОБЛОЖКА И ЗАСТАВКИ РАБОТЫ ХУДОЖНИКА КОНСТАНТИНА КАЗАНСКОГО*

Отпечатано в гос. тип. им. Е. Соколовой,
Ленинград, пр. Кр. Командиров, № 29
Главлит № А 9206. Тираж 4200 — 18 л.
Заказ № 993. * MCMXXVIII

# РАССКАЗЫ

# ЧУДО

## I

БАБУШКА ФЕТИНЬЯ стара-стара, избушка у ней еще старее.

День ото дня прытчится бабушка к могиле, избушка и тут-то опережает: бабушка—шаг, избушка — два, почесть, совсем развалилась, еле - еле лепит, думается, надуй губы ветерок посильней, — и враз прахом рассыплется.

Накроет ночь землю сарафаном, а месяц-насмешник сквозь щели белым языком бабушку примется дразнить, только звездочки ангельские глазки, улыбаются, так и манят, манят к себе: иди к нам, раба божия Фетинья, мы твою душеньку от непогоды крылышками укроем, от холоду дыханьем согреем . . .

Рада бы она, ох как рада! . . Да господь-батюшка на земле держит, видно, не все грехи еще отмолила.

Больше всего страшится она, когда зима, не плоше сварливой свекрови, заворчит метелями, да сам мороз в избушку втюрится, вишь, в углу расселся: седую бороду поглаживает, кулаками о стенку постукивает, все

норовит до бабушки добраться, ладно, что у него глаза от старости ни трошки не видят, да спасибо теплой печи — укрывает, не то — беда бы!..

Поднимется бабушка ночью, — лампадочка с иконами перемигивается: там в углу спасов лик скорбит, справа матушка Неопалимая печалуется, слева — Иван Креститель-батюшка спасу умиляется, рядышком — Никола хмурится — строгий угодник!.. Смотрят на нее и другие угодники божьи — кто с иконы, кто с картинки — таково-то ласково смотрят, и найдет на бабушку умиленье, кажется, будто кто из них ручкой по душе поглаживает.

Любит и почитает она угодников божьих: попадется где на глаза картинка с ликом угодника, — сейчас и на стенку прилепит.

Молится, молится бабушка и ничего иного у угодников не просит, только сохранить избушку до смерти своей.

Хоть и плох угол—все же свой: горек чужой хлеб—не даром часто поперек горла становится, а быть на старости лет бездомной птицей-кукушкой — куда горчее!..

Отец Иван, когда с водосвятием приходит, все трунит:

— Твою, Фетинья, избенку невидимо угодники поддерживают...

Пытает и она рассказать, как намедни, на заре, вроде как бы виденье некое было:

— Похаживает по заулочку кто-то из угодников, да топориком батюшка о стенку постукивает... а кто не ведает: лик-то стенкой сокрыт...

А отец Иван свое затянул: — Во Ио-рда-а-не крещающуся... Некогда рассусоливать — приход вó какой!..

Забыла и забыла бабушка, куда пятак за молебен девала, просто из ума вон: туда и сюда сунется — нет!.. Отец Иван грибом-дождевиком дуется:

— Что ж ты, Фетинья, других благодати божьей лишаешь!.. Неси хоть яичек пяток...

Затрусила старушка за яичками, да второпях с десяток захватила, покрупнее которые выбрать.

Известно, — глаза поповские завидущие, руки загребущие, карманы, как омут, глубоки, весь десяток и тю-тю!.. — утонул в кармане.

У бабушки инда глаза зароснились:—нук-се берегла, берегла к свят-христову дню, да и разговеться не придется...

II

Бредет бабушка Фетинья по улице с вязанкой хвороста на загорбке, а вокруг нее ветерок, словно молодой щенок, разыгрался: то за пушинкой погонится, то клок сена по дороге покатит, не то за подол сарафана почнет трепать.

Вдруг ветер из проулка какую-то бумажку выкатил и давай бабушку дразнить: только она сугорбится — поднять хочет, а он почесть из рук вырвет и дальше погонит, а там крапива сцапала, не отдает — кусается, насилу-насилу выручила.

Расправила бумажонку — глядь, картинка, какого-то угодника лик написан, этакий лохматый, вихрястый, а лик-то больно благовеен, глазами точно иголками в самую душу так и проникает.

Мерекает бабушка — кто бы это был?..

— Рази из евангелистов кто? Малость будто бы на Марка смахивает, да львиной головы около нет... Уж

не Стратилат ли воин, да воинского убранства не видно...

Так и не догадалась.

Прилепила картинку в божнице, по-соседству с Иваном Крестителем, затеплила лампадочку и взмолилась:

— Уж ты, угодничек божий, прости меня грешницу-неразумницу, не знаю, как звать величать тебя, батюшку, замолви перед господом словцо заступное: просит, мол, раба божия Фетинья уберечь избушку от огня-молоньи, от огня-пожару, от праха-тленья...

Моргает лампадочка, угодник жалостливо улыбается, — видно, сердобольный праведник!..

За окошком дождь когтями о стекло скребет, гром с молнией переругивается.

Кто-то стукнул.

Бабушка к стеклу припала: темь, ровно в могиле, — ничего не разберешь. Вот молния светлым языком мрак лизанула, — выявился человек и голос нетерпеливый подает:

— Впускай же скорее!..

К калитке засеменила.

— Входи, входи, родной... мотри о притолку лбом не хлобыснись... Чай-то, касатик, передрог... Откеда бог несет?..

— Из города... Всю ночь с дождем воевал... По всей деревне ни у кого не мог достучаться: спят, как мертвые!.. Поесть, бабка, не найдется ли, голоден, как волк...

— Вот хлебушка, родной, отведай на здоровье... Ссудили добрые люди, дай бог им здоровья... На чем ином не обессудь, ни синь пороха опричь хлебца нет.

— Ничего...

— Ты бы, родной, хоть лоб-то перекрестил... чай, видишь — иконы... грешно!..

— Эх, бабка, крести не крести, когда своими руками не потрудишься — хоть раскрестись ничего не накрестишь!..

— Что ты, родной, бывает господь и невидимо людям праведной жизни посылает...

— Держи шире карман — пошлет!.. Иной праведник ограбит кого да считает, — бог ему невидимо послал!.. Э, да что с тобой, старуха толковать, все равно не втолкуешь... А-а!.. это что еще за икона у тебя появилась?

— Не знаю, касатик, что за угодничек божий... Уж ты меня, старуху глупую, не вразумишь ли, как имячко-то его в молитве поминать?..

— Мудреное, бабушка... Не все ли равно, важно не имя, а его учение.

— А чему он, батюшка, учил?

— Работать, работать, да жить дружнее!..

— Вестимо, родной, праведны его слова... Бают, сам господь-батюшка и то до поту наказывал работать...

— Ты и ему молишься?

— Как же не молиться-то, чать на то и икона, чтобы молиться. Вот только до тебя молилась ему, батюшке, избушку до смерти сохранить просила.

— Да, избушка твоя похожа на мышиный теремок... Молись, молись, бабка, может-быть, у него скорее нежели у всех святых вымолишь!..

— Грешно, касатик, зубоскалить... Ох, как грешно... Мотри, на том свете повесят за язык на крюк...

## III

Под осень, когда небо беспрестанно, как мокрая курица, стряхивает брызгами, и ветер, подобно нищему-слепцу, жалобно скулит лазаря, а в избушке сквозь потолок, словно из худого ведра, ручьями щирит вода, — бабушке не житье, а мученье.

Однажды, рано по заре чует она будто на крыше медведь ворочается — ломает, трещит. Ну, думает, конец, избушка рушится.

Выскочила на улицу, так и опешила: плотники всю крышу, как волки падаль, изглодали, — одни лишь ребра слёг торчат.

Бабушка заверещала:

— Краух.. Краух.. Вызволяйте, добрые люди!.. Что это за супостаты чужое добро разоряют!..

Плотники с крыши:

— Чего ж таращишься-то... Нам все едино, где ни работать, лишь бы работать... Сказано, работать здесь — работаем... Вот-те и вся недолга!..

Слышит, — журавлями курлычут возишки с бревнами и около избушки стабунились.

Бабушка пугалом огородным одеревянела: — что за притча такая, — не поймет...

Потюкали, постукали, как дятлы в лесу, плотники топориками: тут приставили, там наставили, сям—коли труха, и все бревно сменили, и вышла избушка хоть куда, — заплатами, словно шуба перелицованная, пестрит, да не в красе-бахвальстве толк, — было бы тепло, а на бабушкин век и-и как хватит.

Бабушка сумлевается:

— Родимые, кто ж жить-то в ней будет?.. Неужто меня с насиженного гнезда сгонят?..

— Кто! .. Кто! .. Кто жил, тот и жить будет! ..

Пришел печник, глину в кисель размесил, печку смазал.

— Живи-тка, свет-Фетинья, в новом домку, с теплой печью, на доброе здоровье...

И зажила бабушка на славу, — печь теплом так и дышит и дышит.

Нового угодника с Крестителем сменила, рядышком со спасом поставила: больно батюшка отзывчив, знать, при господе-то близко стоит.

## IV

Свят-христов день с весенней водицей прикатил.

Бабушка от людей не отстала: на столе снежным комочком пасха белеет и яички розовеют.

Пришел отец Иван с христосованием.

— Ах, Фетинья, в каких ты хоромах зажила!

— Николи не чаяла и не чаяла, батюшка... На старости лет господь укрыл меня сирую... Знать, угодничек божий за меня замолвил... А имячко-то его святое, грешница, и не допыталась...

— Бывает, бывает, Фетинья... Пути господни неисповедимы... Кхм! .. Кхм! .. Христос воскрес-с...

Поперхнулся вдруг, что рак вареный стал.

— Ты что же, богохульница окаянная! .. Еретика, антихриста со святыми иконами поставила! .. Выбрось вон! ..

Ногами, чисто лошадь от мух, затопотал, глазами просто живьем проглотить готов...

— Какой он, батюшка, антихрист... Что ты, Христос с тобой! .. Коли я сорок годов с гаком всех угодников за избушку молила-молила и не вымолила... а он, милостивец, враз внял...

— Тьфу!..

Харкнул прямо в лико угодника... Бабушка к иконам: как наседка цыплят от ястреба укрыла.

— Ты не харчи на святые иконы-то!.. Еще попом прозываешься!..

— Ладно!.. Подохнешь, еретица окаянная!.. Не будет тебе христианского погребения!..

Сам пробкой из квасного боченка выскочил.

— Видно, попы не любят скорых наших заступников!.. — смекнула она.

Чистой тряпицей отерла лик угоднику и сама петухом на заре продребезжала: «Христос воскрес-се»...

На душе стало тепло-тепло, будто бы в бане парной распарилась.

— Бог ему судья!..

---

# ЛЕТРОПИКАЦИЯ

... Я верю—будет, будет
Электрификация душ.
Вскрылят деревенские люди,
Взрезая пропеллером глушь...

Мих. Герасимов.

Живем в лесу—пням богу молимся.

(Пословица).

ЗАКУТАВШИСЬ белоснежным платом, деревня Заволипиха тихо дремлет в розовых зимних сумерках, спросонок всхрапывая колодезными дыбами и полозьями дровней.

Избенки, уткнув в сугробы рыжие опележенные лики, вальяжно дымят цыгарками.

Изредка из-за околицы колышется по снежным волнам брюхатый хворостом воз, с захарканной морозом лошаденкой.

Кое-где из окошек уже начали дразнить сумерки огоньки.

Среди черневшей, разбросанной куриными следами, изгороды, в раскоряке воротец — у околицы замаячил темный ком, и когда он докатился до первой избенки, хлопнул рукавицами, с кряком: «ну, и морозец» — нырнул в калитку.

— Захлопывай, захлопывай скорей . . . Ишь, пару-то, што, напустил . . .

— Ладно тебе на печи-то сидеть... Прогонять бы самого за двадцать верст, не то запел бы... Лексей Филатычу!..

С печки болтнулись ноги.

— А-а... куму... наше двадцать одно с кисточкой... На то, кум, ты и чиноначальник... Небось, не хвост собачий, а председатель... Шишка!.. Вот коли наше дело маленькое: с утра пробу произвожу... На-ко, затянись...

В дымной сизи пролетела красная муха.

— Ну те к шуту... Дай хоть согреться-то, губы смерзлись!..

Председатель, причмокивая сосульки на бороде, стал любовно поглаживать печку.

— Ф-ф-а!.. Пальцы, что грабли, не гнутся... ровно и не мои... Эх, самогоночки бы теперь гожо дернуть... Да-ко, затянусь...

Он двумя пальцами, словно клопа, защемил окурок. Вспыхнуло выпяченное лицо.

— Кхо... кхо... Ну, и тютюн же у тебя... Заборист! ..

Фукнул плевок...

— А-а... что... Свойский!...

— Свойский... Как же разделываешь?..

— Да што ты, кум, почитай, что всю зиму с ним валандаюсь: и вялил, и в навозе томил... Чево-чево с ним только не делал...

Зевнула дверь. Ввалился тулуп, в щели воротника торчит нос и клок бороды.

— Филатыч, к тее... Всю деревню обошел, дай, думаю, и к Филатычу забреду: разок-другой курну... Никак сват?.. Не признал — богатым быть!..

— Ну, теперича богачество-то не сруки... Допреж, коли, богач — почет и уважение тебе, а нынче — намаешься... Защиплют!.. Что было, что стало: ровно свет божий другим ликом повернулся...

— О-ох, и крепок же у тебя... Прямо под сердце так и шибануло, инда дух захватывает... Ух!.. У брательника Гаврилы тож ражист, да все ж не то... тот больше в голову ударяет... А вон у Яшки-крестника слаб, будто и не табак, а лопушник... Анадысь, вдвоем почесть безмала целую шапку искурили, и хоть бы те што... Быдто и не курили... Уж, Филатыч, весной семенушек-то мне на грядку ссуди?..

Снова дохнула паром дверь.

— Тьфу!. Ишь сколь начадили... Забьется на печь-то, да целый день-деньской табачище жрет... Слазь с печи-то, гладкий леший, небось кирпичи насквозь пролежал... Хочь лучину в светце оправил бы... Небось, видишь, чуть лядит...

— И охота, кума, тебе лаяться-то... Нук-се затянись-ка разок, Палагеиха сама... Табак-то разлюли малина... Покурить все равно, что девку в щеку чмокнуть... хе-хе-хе...

— Неча вам, лодырям, окромя делать-то... шляетесь по деревне да табак жрете!..

Забытая лучина жалостливо потрескивала и слезилась дымком, когда же Палагеиха приласкала, от радости заплясала светлыми пятнами по потолку и стенам.

— Ба!.. Совсем было из ума вон... Комиссар в волостном баял, вишь-ты вышел быдто екрет, значит, дать нашей деревне летропикацию...

— Летропикации-ию... Што така за вешшь?..

— Признаться сказать, я и сам не возьму в толк, што така за штука... Сунулся было к комиссару, так и так,

мол, не растолкуешь ли. Да, ведь, таперича сам знаешь, как с начальством разговоры разводить, рта раскрыть не успел — сичас «гражданин, тебе сказано — не мешай заниматься»... А сам хоть бы дело делал, а то с девками, которые пальчиками у какой-то штуковины, вроде как бы у гармоньи, лады перебирают, шуры-муры разводит... Как был наш брат в загоне, так и остался!..

— Ой, сват, не к добру это... Помяни мое слово... Кака ни то советская затея... Не нащет баб ли... думается, слово-то бабье...

— Поперек горла что ли бабы-то вам стали!.. А, може, и взаправду хотят баб ублаготворить ситцем, али чего на обогнушку...

— Видала, кума, как лягушки прыгают... Коль не видала — посмотри. А я — смекаю, сват, так: всех баб хотят уравнить — обчими сделать... Потому война — убыль народу... ну, значит, на каждую бабу по мужику-то и недостает...

— Обчи-ими... Тут и одного-то хахаля с шеи не скачаешь... Да пропади пропадом все ваше мужичье проклятое, и не пожалеем!.. Пра, не пожалеем!..

— Заткни хайло-то!.. Не то довячишься... Вот порскну с печи валенком... Не так талды заскулишь... А вы чисто и о путном чем... о бабах разговор развели... Тьфу!.. Не-ет, што не говори, а великое слобожденье нам будет и землицей удовлетворят, и от нарядов избавят... Только никак не соображу, откель власть-то о нашей деревне в екрете прочуяла?..

— Хе-э... Нешто мало нашего народу везде болтается... Ну, при слове намекнул кто: так и так, мол, земляки страдают... А почему страдают?.. Недостает тово-то и сево-то... Ну, значит, сичас екрет: дать им тово-то и сево-то... Я так смекаю...

Внезапно лучина лягушкой булькнула в воду и по-змеиному зашипела. Стены и потолок расплылись в темноте.

— Пойдем, сват, к Гаврюхе, еще подымим... Прощевайте!..

---

Не раз и не два заволипихинцы всем миром гуртовались и умом по «летропикации» раскидывали.

Дед Ерофей такую словягу загнул, инда весь мир обухом оглушил:

— Значит, у кобелячкинцев земля сам-пят дает — та-ак!.. Наша што, и раскинешь — не соберешь — та-ак!.. Знамо дело, што из болота вытянешь... Вот то-то и оно-то!.. Смекните-ка, к чему я речь клоню... А-а, вот те и загвоздка!.. Ну, и слухайте, коли у меня разума-то и в пяте боле, чем у вас в чердаке... Значит, отобрать землицу у колебячкинцев в оммен на нашу... Потому за нас летропикация, нам все можно...

Зашумел, замолол мир жерновами: отобра-ать...

Председатель на дыбы:

— Коль скоро этта самая летропикация, на грамоте не расписана... Коли выйдет не то, с ково спросится?.. Ково к исусу потянут?.. Председателя!.. Тебе, мол, дана власть, ты и порядок блюди!..

— Курья голова... Чать постановили обчим собранием!..

— Землицы-то я сам не прочь бы!..

— Сватья Соломонида, которая в Кобелячково дочку в прошлогодь выдала, сказывала: — Тамошние мужики косы с топорами навострили... Бают, головы положим, а землю не отдадим...

— Ты бы хоть свой бабий длинный язык-то гашником от мужниных порток привязала...

— А не разведать ли нам, православные, у мово племяша Кирюшки... Вчерась с фронту на побывку пришел... Може, где этту Летропикацию и повстречал...

— Чево разведывать-то!.. Появилась матушка Летропикация, царица небесная чудотворица, во спасение наше...

— Уж это бабье... без чудотворицы никак не обойдется!.. Сенька, навастривай-ка за Кирюшкой, — мир требует...

Сенька мотнул красной, как подосиновый гриб, головой и — был таков.

Пришел Кирюшка, — штаны ровно «ферт», и речь повел:

— Товарищи, электрификация — великое дело. Она приведет с собой и культуру... Делается так: проведут провода везде... Скажем, хочешь свету — сейчас кнопку — чик и горит... Пахать время — и лошаденку гнать не надо, нажал кнопку, — и машина пашет. Ты сиди себе да книжку почитывай — науке учись...

Дед Ерофей лопнул:

— И в ково ж ты, Кирюшка, пустомелей задался: отец-покойник был человек набожный, мать тоже слова зрячего не бросит... Эх, ты, голова садовая, этту сказку-то про Емелю-дурачка, что на печи летал, еще на свете тебя не было — слыхивали!.. Вот оно што!.. Ишь сказал: нажал пуговку.. Сем-ка, я у порток пуговку нажму. Што!.. Гляньте-ка, православные, не пашется ли поле-то... Хе-хе-хе...

— Заржал табуном мир: ха-ха-ха...

— Думаешь, штаны-те с пузырями надел!..

— Подождите, будет электрификация, и сами галифе наденете!..

Бродит нищий Лисей по Заволипихе и к окошкам прикладывается — христарадничает.

Кое-кое оконце кусочком с воробьиный носочек плюнет — больше впустую, зато в каждом спросят:

— Што, Лисей, не чуть про Летропикацию-то?

— Слышно, касатка, идет... Бают, народищу с собой уйму ведет... Дослышала матушка-заступница Летропикация наши грешные молитвы и грядет со славою судити живые и мертвые...

— Истинно останнее времена доживаем... А портки-те, Лисей, на што лычком закрутил?

— Как же, касатка, бают, Летропикация-то, матушка, без галифея никого к себе не примает... Хочь хлебца даст, и на том спасибо. А то день-деньской мыкаешься-мыкаешься по окошкам... Обиды-те што натерпишься!..

— Такое твое дело, Лисей... Вон наши мужики тож ошалели: все портки на галифеи испортили... И ходят, чисто журавли тонконогие... Жили же допреж и без галифеев этих самых... Жили себе потихонечку-полегонечку... И-их!..

Оконце звонко по-волчьи щелкнуло зубами, и Лисей, «поминая родителей», плетется дальше...

---

По весне, когда закоростились болота и засмердили дохлым покойником,—в Заволипиху нагрянула «Летропикация»: народ-скипидар, пиджаки кожаные... с суконным рылом лучше и не подступайся.

Боронят затылки заволипихинцы — не поймешь: кличут «товарищи», а прикрикивают по-барски.

У Сидора Глотова прируб заняли.

Был кулак Сидор Глотов в загоне,—теперь сразу нос на второй ярус. По улице идет — не столько шагать-шагает — больше пузо-парусом плывет.

Оконницы рты разевают:

— Сидор Петыч, што слыхать?..

Кому ответ, а кому и нет.

Коли ответ:

— Да... што... ничево себе... Думам к Петрову дню двадцать фонарей на дугах [1]) вывесить — деревню светить... Вишь ты, хомутаторов [2]) не хватат. Ожидам из чужих земель... Своими, не знаю, обойдемся ли...

Деревня, как мыши по одонку копны, заметалась.

— Батюшки, дуги да хомуты отберут, чем же запрягать будем!..

К Сидору потянулись:

— Сидор Петыч, порадей миру... Што хошь возьми, только выручи.. Нельзя ли фонари-то этак, на жерздях вывесить... Жерздья мы хоть сто возов доставим... Эва, лес-то под боком!..

— Што ж могу... Ввернул анжинеру при случае, и дело в шляпе. Анжинер без мово совету — ни шагу, потому я все понимать могу. Хоть он и немчура, больно, чудно говорит-то... да как не хитер немчура, а до нашего брата русака по уму дале-ко... Вечерась, други мои, возил анжинера на Чухино болото, с каким-то кожаным барином. Бормочут почесть всю дорогу, слышу слова-те быдто наши, а сообразить не смогу... Думаю, не белая ли гвардия... Боже сохрани!.. Пропадешь ни за понюшку табаку... Ладно, слушаю, что дальше будет, — однова пропадать... И смекнул таки: Расею продает анжинер-то наш. Торгуются, значит, а на деньги

[1]) Дуговые фонари.
[2]) Коммутатор—прибор для размыкания или смыкания тока.

не наши, иноземные; анжинер требует: двести вольтов, а кожаный барин только тридцать ампёров [1]) дает, мол, куда ж Расея годится после большаков-то... Хотел было в лес от них утечь, да боязно: пальнут в загорбок-то левольвертом, и пропадешь, как собака без покаяния... Потом барин тот и говорит нашему... высоко напрягаешь... Тут, братцы мои, я уж не стерпел, как прысну... Анженер мне: что, дурак, заржал? Кто же, говорю, высоко запрягает, чать высоко подседлывают... Подтянешь эттак чересседельник покруче, лошадь враз захрипит... Посоветовать-то я посоветую, но чтобы того... по полпуду ржицы с рыла было мне представлено...

— Скости, Сидор Петыч, сделай милость... Сам знаешь, дуранду едим...

— Мене... ни боже мой!.. Дело трудное: небось, не мужику, с бухты-барахты не ляпнешь... И то берусь, потому душа у меня больно жалостлива: сам знаю, что мужику без дуги и хомута зарез!..

---

В Заволипихе что ни день будто ярмарка: беседы гомоном гомонят, от парней, как от мух, отбою нет, девки совсем зачижились [2]), — лахудрами [3]) стали...

Сваты и днюют и ночуют на беседе: моргни какая девка глазом, вмиг по рукам расхватят. Да заволипихинских девок на кривой не объедешь, а шест [4]), как бог-свят, получишь!

Парням заволипихинским — лафа: невест, невест, — голова закружится.

---

[1]) Вольт и ампер—меры для определения силы электричества.
[2]) Чиж—танец вроде кадрили.
[3]) Лахудры—худые, ободранные.
[4]) В случае неудачного сватовства, девки ставят у калитки жениха шест. Отсюда шест—отказ при сватовстве.

На что Терешка Секлетихин — парень валенок-валенком, прежде самая-то бросовая девка и то не подумала бы пойти за него. Женился!.. Да кого еще взял-то: у самого Михея Прова — «пискулянта» дочку...

Про приданое и говорить нечего: одной соли с пуд (и всего-то только на десять фунтов тесть обвесил и стекла битого малость подсыпал), да керосину с полпуда, да мяса два пуда... Прикинь-ка на советские-то, сколько косых [1]) вытянет!..

Можно им гордыбачиться — коли «летропикация» у них.

Теперь в Заволипихе все пошло по-образованному: скажем, почнет кто из себя Ивана Кирилова богатого мужика строить, и надо ему с шеи спесь сгладить, так не скажут просто-напросто: «покроемте-ка его, братцы», а скажут «навольтим-ка ему по первое число, уж больно ампёрится, ишь лизолятора какого разыгрывает»...

И навольтят!.. Вон Микитке-Косиглаз еще по Троице как печенки с селезенками перемешали, сейчас Петров день на носу, а он — к постели прирос.

---

Погнали заволипихинцев на Чухино болото канавы рыть.

Покряхтывают заволипихинцы — крепко покряхтывают, видит, что не дело: испокон веку в болотной рже лишь одни кикиморы ныряют... да помалкивают: нужно ж для Летропикации потрудиться...

Плачет болото ржавыми слезами и всхлипывает под ногой, словно молодайка, которой раскураженный муж заехал в зубной частокол.

---

[1]) Косые — 1000-рублевые бумажки — выпуска 1918 г. с косыми полосками.

Сбежали болотные слезы по канавкам в балочку — глядь: десятин пять косовицы нивесть откуда взялось.

И дивятся заволипихинцы — чудное дело: нарыли из болота земли, машиной чавкнули, кирпичиками для просушки сложили — говорят: — будто торфом вместо дров, гореть станет... — это земля-то!..

На пригорке стройку соорудили, — труба, как палец, кверху поднялась.

Войдешь в стройку: ад и ад кромешный, точь-в-точь на картинке страшного суда, инда жуть берет.

Машина красный рот нет-нет да и разинет, торфу хап, а сама ровно в лихоманке дрожмя-дрожит.

Колесо. Стоит — колесо, закрутится — пропало... Думается, впряги в телегу хоть сотню лошадей и то так не завертится!

Глянул дед Ерофей, бородой потряс:

— Знайте, православные, без нечистого тут не обошлось... нет, не обошлось!.. Нук-се, поверни-ка таку махину... Во-от!.. А он, окаянный, вишь из пекла красные зубы щерит да пофыркивает... Ему што!.. Лишь бы народу побольше в свои лапы заграбастать... Вот оно што!..

Там столбов понаставили — паутиной проволоки к избам опутали. В избах пузырьки, вроде прежних казенных шкаликов [1]), подвесили.

Повернешь какую-то хреновинку, и огонек засветился: ни высекать, ни раздувать не надо, а горит: ни чаду, ни копоти...

Только огонек-то уж больно неприветлив: не моргнет, не полыхнет, а все норовит, как бы избу наиз-

---

[1]) Шкалик—винная посуда, двухсотая часть ведра.

нанку вывернуть: и прорехи, и копоть, и грязь сразу выявились, а, ведь, сколько годов в избе-то, словно черви копошились, не примечали.

---

Понадобилось Пелагеихе огонька: лампадочку ради праздника пред заступницей затеплить, посовалась туда-сюда — ни огнива, ни трута... «Дай-кось, думает, стеклышко сыму, да лучину зажгу».

Повертела-повертела, — подалось стеклышко, а оттуда: «ка-ак бес-от бахнет, да за ручоньку — цоп и улетел во тьме»...

Пелагеиха со страху так и обомлела. Опамятовалась — деревню криком всполошила: «крау!.. крау!».

Мужики на улицу шарахнулись, бабы за горшки и в голос: горим!.. горим!..

Забурлила Заволипиха: «Чево ж бесовым огоньком морочат нас... Вали-ка, братцы, к анжинеру!»...

И покатилась по деревне волна, встречный тын по колышку разнесла, а у Сидоровой избы прибоем зашумела:

— Эй, ты, анчихрист, выходи к ответу!..

— В чем дело, граждане?

— Чево ж это канитель нам разводишь!..

— На кой ляд стклянки в избах повесили!..

— Объявили, — летропикация будет к нам... Думали, хоть вздохнем послободнее... А ты бесов огонь подсунул!..

— Што это за огонь, коли ни зажечь, ни прикурить от него!..

— Стойте, стойте, граждане... Не все вместе говорите... Я разъясню вам... Да, ведь, это свет и есть электрификация!.. Что же вам еще надо?

Ну, и огорошил же инженер заволипихинцев, инда мозги шестернями несмазанными заскрипели: «не то врет, не то правду говорит»...

Потом не крик — медвежий рык раздался:

— Убирай свою летропикацию!..

— Граждане!.. Граждане!..

— Не желаем... Лупи, братцы, чортовы пузырьки!..

— Слушайте, граждане!.. Да выслушайте же, наконец!.. Скажите, часто ваша деревня горит?

В толпе — заведрило, кое-где еще чуть слышно рокочет гром.

— Году не минет без пожаров... Просто разоренье!..

— Супротив воли божией не пойдешь!..

— Видите, граждане... Тут «воля божья» не при чем, а все от вашей неосторожности с огнем... Да и при всей осторожности не убережешься: пошел в сеновал со свечей или с лучиной, нечаянно заронил искру, и пожар... Вам дали безопасный свет, и вы еще недовольны... Сунь лампочку хотя в сено и не загорится!..

— Так и не загорится?..

— Давайте, испытаем...

Вмиг лампочка в охапке сена зацвела:

— Подкинь, подкинь еще сенца-те!..

— И взаправду не загорается!..

— Вот так ого-онь!..

— Кабы я не сгорел, рази маялся бы так!..

— Корпеешь-корпеешь за работой-то... хвать пожар, и все прахом!..

— Да мы и без пожаров-то вб как жили бы!..

— А-а, кум, што не говорил я — дельная штука будет?..

— Верно!.. Ну, теперича Заволипихе не гореть!..

— Спасибо, што на ум наставил... Вот как — спасибо!..

Дед Ерофей закаркал:

— Православные... Не поддавайтесь бесову наваждению... Душу-те не губите... Вот оно...

— Ты, старый хрыч, всех взбаламутил: бес!.. бе-ес!..

И растеклась людная волна по избам ручейками с тихим журчаньем:

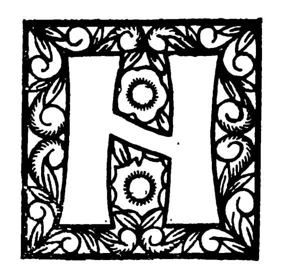
— Заволипихе не горе-еть...

# ПЕТУШОК

Что же! Смотреть и молчать?
Жить и в борьбу не втянуться?
Землю пришли мы венчать
Красным огнем Революций!..

В. **Александровский.**

I



А ЗАТЫЛКЕ ДЕРЕВНИ, за овинами притулилась лачужка деда Сафрона; подпорками — точно старушка на локоток облокотилась и моргает в поле слезливыми глазками-оконцами.

Живет дед один, как перст, хворь ли какая прихватит—валяйся, и никто не придет, не проведает, словом ласковым не ободрит, яством не побалует: хворый, что ребенок малый, уходу требует.

А коли тоска на сердце стопудовой гирей надавит, — с кем же душу отвести — разговорить.

Только один и есть у него друг-приятель закадычный — сизый петушок, гребешок красный, хвост дугой.

Любо деду: скажет что, — петушок внимает, лишь вымолвить не может, и то ладно, все живая душа.

Никак дед с ним не расстанется: в деревню пойдет окошки милостыней считать, — петька на горбе, из котомки бородкой краснеет.

Под окошками петька кукареком баб полошит: «подава-айте»... да так, подлец, отхватит, куруши рябушки и чернушки так и закудахчут: «ах, какой приятный голос»... Петухи крылом оземь бьют: «ну, и суки-ин сын»...

Хочется и петьке поразмяться, крылышки пораcправить, коготки поострить, да лоботрясничать не приходится: при деле...

II

Уселся дед на завалинке и подковыркой в стоптанный лапоть новое лычко вплетает.

Петька о-бок на жердочке примостился, зажмурил глазок, а другим на деда косит.

— Што, Петрак, не повадно без курушки-то?..

... Ко-ко-ко...

— Погодь, и курушку-рябушку в женки тебе заведем... Дай срок, вот о христову дню похристосуюсь в деревне — яичко сырьем выклянчу... Только не обессудь, — высиживать тебе, Петрак, самому придется... Хоть оно и зазорно мужику бабьим делом заниматься, робят рожать, да, ведь, курье иное дело... Хе-хе-хе!..

... Крр... Кр...

— И осерчал... Ишь ты, не по нутру пришлось, коли с курой поравнял... А мы, Петрак, вот дожили, так дожили, что мужик, что баба — одна статья: на сходке баба голос наравне с мужиком может подавать... Бывалоче бабе не токмо што пикнуть и рот-то разинуть — боже упаси... а на мирской опивухе—нешто пробочку понюхает, да в донышко посмотрит. Как ни выравнивай, а баба бабой и будет: не бывать курице петухом, а бабе — мужиком... Так ли?..

... Ко-ко-ко...

## III

Вдруг чует дед, — в ухо песня чья-то комаром загудела: а-а-а-а... а-а... Голоса молодые. Песня все растет, растет и выросла:

Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся...

— Деда, здорово!..

— Здорово-те... Куда, робят, нелегкая вас несет? Кажинный божий день, кабыть скворцы стаями в теплую сторону летите и летите...

— Ну, сейчас мы не полетим, а пока что в твоем скворешнике устроиться думаем...

— Шли бы, робят, в деревню, там в избе-то сподручнее было бы... Чего же в тесноте-то маяться вам...

— Нельзя, деда, отряд в деревне расположился, мы охрану несть должны...

— Мне што — я к слову молвил, вас жалеючи... Нам с петькой места не бо̀-знать сколько нужно... Аль супротивника ждете?

— Нет... Где ему: мы так наломали репицу-то, и по-сейчас, хвост задрав, улепетывает... В военном деле всегда начеку следует быть...

— Расколыхались вы, кабыть вода в посудине, — никак не уйметесь... Жаль: робята молодые, только жить бы да жить, а тут, как травка молоденькая, под косу ложитесь... Из чего ж, робят, меж собой развоевались?..

— Штоб тебе, деда, и прочей бедноте жилось хорошо...

— Дай-то бог вам здоровья... Уж больно наше житье-бытье маятное... Сунешься в деревню на пропи-

тание пострелять, к богатею лучше и не суйся — ни боже мой, — не подаст: весь хлеб укрыт!.. Свой же брат, гольтепа, скорее от крохи отщипнет да покормит... Што, Петрак, правильно я говорю аль нет?..

... Ко-ко-ко...

## IV

Постоялят красноармейцы у деда неделю-другую — ему и с полгоря: то хлебцом ссудят, то ложечка кашки перепадет, — и сытно. Петька к ним, словно ребенок-малолеток к матери, льнет: куда они, туда и он.

Все молодежь — народ веселый: и песенки заведут, и козлятками распрыгаются, не то деда разным военным штукам с ружьем обучать примутся. Выйдет какой недоросток — и с шапкой-то до штыка четверти на две недостает и команду подает:

— На ру-ку!..

Дед мигом — в два счета: ать-два... Да уж больно несноровисто, — те так и покатываются, потом понаторел, — хвалить стали:

— Молодцом... молодцом!..

— Для какого ж рожна, робят, меня учите?..

— Перенимай... Перенимай, деда, покуда мы живы... Придут белые, авось пригодится...

## V

Моргает кривоглазый ночничок — по стене зайчиков гоняет.

Вползла лохматая дрема и давай всех лапой поглаживать — пока не угомонила.

Дед на печке, словно испорченный пищик у гармонии, подыгрывает; петька на шестке сплющился: голову

под крылышко, ноги под себя; красноармейцы — на полу, как снопы на току поразбросаны.

Только часовой у стола с дремой борется; она над ним куражится: то за нос к столу потянет, то головой закачает... Осилила-таки и его: голову к столу пригвоздила...

Один лишь сверчок не поддается — где-то из щели дразнит: «попробуй, найди... попробуй, найди»...

... Вскочил петька, крыльями, что в ладоши, захлопал и благим матом как заорет:

... Ой, не проспи-ите...

Часовой прилетел из тридесятого царства снова к столу:

— М-м-а... Выйти посмотреть, что ли...

Что-то замурлыкал про себя:

... Тра-ра-ра... ти-ра...

Заскулила дверь, темнота с голосом — хап...

Должно-быть, не понутру пришелся, — вскоре выплюнула обратно.

Во всю глотку гаркнул:

— Товарищи!.. Поднимай тревогу... Белые!..

— Где... где белые?..

— Спокойно... Бери ружья, выходи!..

... Ко-ко-ко... ко...

— Петрак, подь сюда... Слышь, какая кутерьма поднялась, кабыть гроза господня... Знать, в деревне дерутся... Што люду-то уложат и-и сила...

## VI

В оконцо просунулась румяная морда рассвета.

Все реже и реже где-то вдали вздыхают выстрелы, потом и совсем затихли.

За оконцем топотанье и голос, что мороз трескучий, холодом обдал:

— Эй, кто есть живой — выходи! ..

Аж стекла в оконце с перепугу задрожали.

Дед с печки долой, кафтанишко на плечи, петьку под мышку и на улицу.

— Вот мы с Петраком покеда живы...

— Ты, старый хрыч, отвечай на мои вопросы, не то! ..

Как махнет сабелькой под носом у деда, ровно молоньей сверкнул.

Дед к печи: «Вот они, белые-то»! ..

— Э-э... У тебя жили эти... эти красные... бандиты... Ты, наверное, слыхал у них разговоры, — где другие их банды находятся...

— Стояли, родной...

Глянул дед: ведь барин с ними говорит, — плечи золотые.

— Стояли, господин хороший... Уж такие робята задушевные, обедать сядут: мне ложку каши, петьке — ложку каши, за ужином опять не обойдут: мне — ложку каши, петьке — ложку каши... Такие робята задушевные... Только одна сучковинка: богу не молятся — обедать садятся, харю не перекрестят, за ужин — тож без креста... Ой, говорю, робяты, распрогневается на вас господь—стукнет по лбу-то... А им хоть бы што— только ржут...

— Ты что, старый чорт, за околесину порешь! .. Смеешься, что ли... Сказывай, куда они ходили?

— Как же, ходили, господин хороший... Ходили на беседу... Энтот Ванятка-то, который за старшего у них — больше за Катюшкой Козлюхиной приударял,

а Колюшка-то белобрысенький на перебой... Потеха... Так...

Дед почуял, — щеку будто обожгло: с господами говорить мудрено...

— Э-э... что у тебя в руках?.. Петух... Ну-ка, его на обед мне... Сколько тебе?

— Што ты, господин хороший, нешто можно, Петрака-то... Да у меня только и отрады в ем...

— Ма-алчать!..

Да и за петушка, — совсем было из рук выхватил, еле-еле дед за головку удержал.

Петька таращился:

... Крр... кр...

Офицер за хвост, дед за голову, — всяк к себе тянут, ходят вокруг, точь-в-точь молодые под венцом исайничают.

Да ка-ак тяпнет сабелькой-то по петькиной шее, — дед с головкой наземь бряк и в голос:

— Петрак... Петрак... Загубил тебя изверг... Уж и мою голову лучше на снос... На, тяпай, тяпай... Кровопивец!..

— Унять старую ворону!..

— Думаешь, и управы на тебя нет... Высоко дерево, — солнышко выше... Найде-ется...

Волком воет дед, а петька без головы камаринского разделывает.

## VII

Как седой осокорь с разгромленной сухой верхушкой, маячит лысина деда на дороге.

Дороги с кем скрестятся — к тому кучится:

— Родной, не приметил ли где робят?..

Встречный в сторону шарахается: очумел старый... не ровен час, заслышат белые, — и голову на рукомойник...

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Деда!.. Куда путь-дорогу держишь?..

— Робяты!..

— Иль с белыми не поладил?..

Отмахнулся дед:

— Ружжишка слободного нет ли?..

— Найдется... найдется... идем с нами белых выбивать...

. . . . . . . . . . . . . . .

## VIII

— Деда, ты все в небо палишь, патроны задарма изводишь!..

— Погодь-те, робят, глаз слезой забило... мерещит.

— Ты ниже цель...

Пальнул дед пониже...

— Ай да, деда!.. Ты офицера у них уложил!..

— Уж не петьку ли который слопал!..

— Кто его знает...

— Слава те, господи!..

— Товарищи!.. В атаку!.. Ура!..

— Урра-а-а-а...

Загудели, как пчелы при рое... Дед — маткой передом лупит, борода по ветру веется...

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сдержит ли плотина какая воду весеннюю, сможет ли сила какая сопротивиться порыву душевному?..

Не может!..

# ЗАКОВЫКА

ГУНЯВИТ, как нищий-слепец, великопостный звон, на карачках ползет по золотушно-весенним полям, корявыми пальцами цепляется за деревья и где-то в сумерках тихо-тихо замирает.

Церковь зазывно подмаргивает в окошко одним глазом: к нам, мол, пожалуйте — покупаем, продаем и в обмен берем.

И несет люд беремя грехов в мену на слово, — льстивое, поповское, и станет на душе и в мошне так легко, легко.

Батюшка похаживает, бороду поглаживает, похмыкивает, — бога гневить нельзя: эк, пятаки позвякивают.

Опростал дядя Клим душу от грехов, поди, короба с два свалил, а все на душе камень лежит.

Идет-идет, да вдруг, словно лошадь зарочистая, станет, мнется на месте, в затылке поскребет и рукой отмахнется:

— Гм... эка оказия!..

Запала в голову какая-то загвоздка, — зудит мухой назойливой, а не поймаешь...

---

Жил-жил, эва сколько годов отмахал, — вскачь не догонишь, — все как по-писаному шло: изо дня в день корпел за работой, и никакая думка голову не тяготила.

А тут как-будто вдруг от слепоты прозрел: выйдет хоть бы на косьбу, кинет вокруг глазом: ширь зеленей стелется, там где-то далеко-далеко земля с небом обнялась, солнышко таково-то ласково в лысину целует, из травы цветочки улыбаются, и такое найдет умиленье, просто душа плывет — облачком кисейным расплывается.

Пичужка какая чирикнет,—ну что ж, думается, особенного, — слава те, господи: за свою жизнь птичьего голоса ни весть что переслушал, а тут, словно спичкой по душе чиркнет, так и загорится.

Кумекал-раскумекивал дядя Клим, что за притча такая с ним сталась, да так и не раскумекал.

Дедушке Левонтию знахарю порог обивал, — поглядел дедушка в ковшик с водицей, с «самим» пошептался: притка, говорит, с ветру напущена, а снять нельзя: на крест заговорено.

Он к Егоровне, божьей богомолочке, — та с угодниками свой человек, — коли не помогла сила темная, не вызволит ли сила небесная.

Пораскрыла Егоровна наугад книгу евангельскую — чтет стих: не подошло, кучнулась к творениям Златоуста, Лествичника: не то, и только царь Давыд псалтырью истину изрек: «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его».

И говорит Егоровна такие слова: — душа тоскует перед ростанью.

И пустился дядя Клим в жизнь душеспасительную: в заутреню — заутреничает, в обедню — обедничает, нищий в окошко стукнет, — кус наровит с гаком отвалить, коль глаза залукавят: немного ли... Нечистому прямо в бельмы через леворуку харкнет.

Наденет рубаху — белее снега — каемистую, с ластицами под-мышками красными, портки пестрядевые, что ручьи после дождя полосой пестреют, сядет на завалинку, — нейдет ли из-за околицы Косариха с косой: созрела былинка — на̀ коси.

Сосед однолеток подсядет:

— Не преставился?

— Скоро... Чую, как душа на небо рвется...

— Чай, с жистью расстаться не охотно?

— Пожито, погрешено... пора и на покаянье...

Сидят и о жизни праведной балякают.

Бабы по улице цветнеют, — поравнялись:

— Дядя Клим, все еще на земле болтаешься, а мы думали, — уж небо топочешь?

Ведь у бабы не язык — жало змеиное...

Першит у него в горле слово забористое, шибанул бы сукиных дочерей, сплеча... да никто, как ангел в правое ухо упредил:

— Ой, спасенье не в спас пойдет!..

Молитвословит — лукавый кукиш с маслом получил.

Сыновья иной раз с укором:

— Неча лысину-то зорить, чай, и помочь в работе не грех...

Экий народец, и кончине праведной завидно.

Ждет-пождет Клим, а смерть к нему нейдет.

---

Пора страдная в разгаре, — домочадцы все на работе.

Пригрелся на завалинке дядя Клим, поднял бороду кверху, глядит — под князьком в гнездышке детенышки-ласточки копошатся, красненькие ротики раскрывают, пищат. Вот мать прилетела — мошку сунула, чирикнула: сидите, детки, смирно — и улетела.

Как туман над полями, ползет ему в голову думка:

— Вся-то с кукиш, а тоже своя забота есть, с коих пор поднялась на работу... Пяток ртов прокормить — не шутка... Что ей — только на эфтом свете и жизнью пользуйся — подохла и нет ничего... А мы живем — маемся-маемся, да и на том-то свете черти драть будут... Ой, и опять помыслом согрешил... Прости, господи, мое согрешенье, тьфу... тьфу, сгинь, лукавый!..

...Ишь ты, подвернулся, врасплох захватил, вот тут и сподобься жизни праведной...

Глядь, Тараска Авдотьин, парнишка грамотей с книжкой бредет: книжонка с виду так себе, неказистая — закурки на две хватит — не больше.

— Дешка, чтой-то такое на книжке написано: «Проле... про-ле-та-ри-я... всех стран... сое-диняй-те-ся»...

— Шут те знает что... теперь народ мудреный пошел... ни бога ни царя знать тебе не хочет... сами, мол, управимся...

...Д-да... а слово-то занятное... как бишь его... «Про-ле...» сразу видно, что слово то господское, — не распоясавшись, нашим дубовым языком и не выговоришь...

— «Проле...».

— Ты, малец, катись-ка к Андрону — он книжник, библию который год осиливает, кабы, говорит, до смерти успеть... большое спасенье будет...

Тараска взлягнул, по заднице для прыти шлепнул и вихрем понесся к деду Андрону.

— Вот она, грамота-то, силища какая — мальчонка соску еще не забыл, а уж может знать, что на край свете

деется... а я прожил всю свою жизнь, словно в теми какой... Э-эх-хе...

Шастет с Тараской дед Андрон — старик кряжистый, с очками на носу. Подсел на завалинку, поправил очки, взял книжку, сначала отдалил, потом к глазам поднес.

— Проле-та-рие всех стран соединяйтесь... Мм... что означает, — доподлинно сказать тебе не смогу... а-а, это, пожалуй, как бы вроде, как на священных книжках пишут: «благословиши, господи, венец лета твоя»... Отродясь впервой такое слово слышу... Дако-се, в книжонке померекаем, не будет ли там разгадки...

И принялся за чтение Андрон — все равно, что лошадь по дороге ухабистой, — коли трухнуть нельзя, так шажком плетется, из колеи на слове заковыристом выскочит — назад воротится, все же за лето-летинское до конца доплелся...

Дядя Клим слушает да ахает:

— Погодь, Андрон... Неужель — так и пропечатано: дескать, вся сила в нас самих... Ни бог, ни царь не помогут, коль сам за ум не возьмешься...

— Давай-ка еще раз побукварим по этому месту... опять выходит: бога-то и нет, — попы для своих барышей люд морочат... Только, братец мой, не возьму в толк: кто же на горе Синае Моисею гремел: «Аз господь бог твой»... Лика-то точно Моисей не видел, а голос слыхал... в библии доподлинно расписано...

— Може, Моисею-то только почудилось...

Дальше-больше, и поняли Клим с Андроном, что рай на земле, а не на небе, — вся сила в труде: работай и работай... Весь народ, как братья, должен сбиться в работе в одну семью.

— Эх, Клим, кабы эта книжица допреж в руки попалась... Сколько годов на библию потерял...

— Д-да, Андрон, выходит все мое спасенье прахом пошло. От кого же награду получу, коли и я, как животина, подохну и... капут... Истинно в книжке говорится: «Человек вечен в потомстве и в делах рук своих»... По губам попы раем мазали... на привязи держали... Понимаю, чему душа-то радовалась — проясненью ликовала...

— Так, Клим, оставить нельзя, нужно всем объявить, пускай расчухают... давай-ка все, что в книжке бается, — соорудим...

— Дельно!..

Народ мимоходит, зубоскалит:

— Вишь, старые хрычи как воронье к непогоде, разгалделись...

Снял рубаху смертельную дядя Клим, да в работу подался: инда коса звенит — поет.

Дивится люд: чтой-то подеялось.

— Аль на небе отсрочили?..

Ухмыляется в бороду Клим, с Андроном перемигиваются:

— Вот ужо, дай срок, узнаете...

---

...«Начинаем, начинаем — на-чинаем»... — заманивают колокола к обедне.

Дьячок горох по полю сыплет — чтет часы.

Батюшка в алтаре просвирами орудует.

Мужиков в церкви маловато, — пока до начала табашничают.

Старухи у кануна сродников поминают.

Девки по парням глазом стреляют, шушукаются, в рукав хихикают.

Вошел дядя Клим в церковь — лба не перекрестил, прямехонько шасть на место поповское — проповедное...

Люд глаза таращит: обалдел старой...

— Православные!..

У дьячка аминь на языке повис; у попа просвирки на пол прыснули.

— Так, значит, бога нет... и николи не было... все выдумка одна... Значит, всяк сам на себя надейся... Иное дело одному невмочь, берись собча... Как это в книжке говорится: коли ты силен — лядащего не забижай... Чтобы, того, все ровня-ровней... Коли мне не верите, Андрон порука!..

— Что правильно, то правильно... так и в книжке пропечатано... — грянул Андрон.

Старухи отплевываются:

— Отцы родные, и другой рехнулся... Не он первой, не он последний библией-то зачитался...

Батюшка из алтаря:

— Гоните, православные, взашей осквернителей храма сего!..

Сторож Масей с дьячком Антипом, как клещь-червь, впиячились в ворот Клима, да из церкви потянули, заодно и Андрона прихватили.

— Вот-те и праведники...

Молчит люд, размышляет:

— Будто и правда, а кто-е знает... Тут заковыка какая-то!

Здесь дьякон завладычил.

Руки проворно замахали.

И пошла плестись паутина...

# НА ВОЛГЕ

ВДАЛИ ЗА ВОЛГОЙ, где лес узором темным врезался в небо, выполз на завалинку Старый Вечер закурил трубочку и ну огоньком попыхивать — сумерничает.

А Ветер — вот работяга-то!..

Целый день-деньской без устали этакими валунами распахал Волгу, а теперь боронует.

— Эй, дядя, чай, шабашить пора?

— Фью-ю-фю!..

Экий неугомонный — и не устанет, думается, кабы такую уйму силищи, да с умом кому — весь свет ублаготворить бы мог.

Скажем, возишь ты телегу лошадью, возьми да и окрыли телегу-то, как мельницу. Пришло время снопы возить, — ты к Ветру:

— Дядя, мол, Ветер, так и так.

А он — единым махом.

— Фью-ю-фю...

И пое-ехали.

Тебе прибыточно и коняге — отдых.

Вот какое дело могут сила с умом сварганить.

Без ума, милый человек, и вошь на голове не изловишь, а без силы не убьешь.

Докуривает Старый: все реже и реже вспыхивает огонек, задумался.

О чем?

О жизни ли, что с каждым днем, часом вперед, точно телега под гору катится.

Иль изжитое, как четки монах, перебирает Старый в голове... Есть кое-что вспомнить — перевидал-таки на своем веку.

Думает думу думную и качает головой.

Из-за леса выполз — клубится, вьется серо-хребтый Змей-Горыныч и схапал пастью ненасытной молодые зеленя, желтоволосые хлеба.

В болоте кто-то точит подпилком пилу. А другой голос торопит: п-ра пилить!.. п-ра пилить... И тут-то работа!..

Таким-то манером только и жизнь держится: всюду работа и работа — без полдничанья, без закурок, — коли и ты хочешь повернуть жизнь по-своему — не будь той птицей-забулдыгой, слышь, во ржи без дела бесперечь бормочет: блю-блю-блю...

Дремлет золотоволосая рожь, спросонок вздрагивает головкой:

— Этакая болтунья, прости, господи, — ишь разблюкалась!..

И дремлет, дремлет...

Докурил Старый трубочку, выбил, сунул за голенище, зевнул:

— Э-х, грехи, грехи... На спокой пора...

И нырнул в калитку, за лесом.

Угомонился и Ветер, не шершавит Волгу-матушку.

Пора... Уже заснул и бог, — вишь, ангелы в орлянку режутся, эва, сколько пятаков насветлили да по небу поразбросали.

Вон и Илюха-баканщик выехал на лодке, цветными бусами рядит-убирает красавицу, глянь, как заиграли, засверкали каменья самоцветные и яхонты и алмазы...

Разыгралась красавица...

— Ладно, не подмаргивай... Знаем твои шутки: заколдуешь, завлечешь купца пузатого — ишь насветлил да развесил по жилетке цепочку огневую, — экой фартовый, а сапогом со скрипом так и пристукивает:

— Полюби, красавица, меня, молодца, городского удальца...

Хорохорится красавица, ломается.

Будоражит купец, хлопает ладонью, распускает косыньку в волну.

Волга зарей зарумянилась, кисейным рукавом прикрылась:

— Знаем вас, городских-то: обманщики...

— Нет, так и не надо: меня ль молодца не полюбит любая красота...

Надулся, запыхтел, — гоголем мимо.

Да не тут-то было: и сидит, пыхтит чортово пугало на кровати песчаной, и в затылке скребет.

— Дык, как же это я опростоволосился!..

И поделом, не верь ласке женской...

... — Держись ближе к красному!..

— Есть...

— Прошли!..

— То-то вот и оно-то...

— Вперед полным ходом!.. Нам не страшны ни мели ни перекаты...

Вперед и ни шагу назад!..

Ткнул Илюха лодку носом в берег, а сам... ох, озорник, скорее тальянку под мышку и прямехонько к Танюшке под окошко шасть.

Танюша пузырится.

— Чай, не дешевле тебя стою: ждала, ждала...

В щечку чмок.

А тальянка тили-тили-ли...

... Ты, тальяночка моя,
Четырехугольная,
Ты скажи, моя милая,
Чем ты недовольная...

Вздыхает ночь.

Месяц бороду седую по лугу разостлал, жует:

— Не сосвататься ли и нам, стара!..

Нахмурилась, заплевалась ночь:

— Полно, старый греховодник!..

Засовестился месяц и за тучку:

— Эх, молодость только раз бывает!..

Жизнь не ждет, — бери от нее и горстью и охапкой, сколь можешь захватить, только меньше в носу ковыряй да рассуждай, упустишь — спокаешься. Иной уткнется носом, словно свинья в корыто, и о жизни раздумывает — вот удумал, все чисто по плану расписал, а жизнь такое над ним коленце выкинет: вмиг все вверх тормашками полетит.

---

Перевозчик Вавила сидит у шалаша и отвешивает носом солонину. Спиной он окунулся в темноту, впереди перед ним играет огонек, — то по бороде пробежит: «глядите, вот так рожа», — то по зипуну промелькнет: «во, форсун какой»...

А рожа-то у Вавилы, истинно, на всех чертей похожа: борода — пенька из мялки, нос — козырьком, губы — бубном... не беда, коли нескладно скроен, лишь бы крепко сметан был.

Зипун заплатами, чисто берег камнем пестрит.

Грешником в котле, мучается каша:

— Уф, упф... Чем я греш-шна...

Одеревянел Вавила, не чует, с коих пор из-за Волги бабий голос сверлит темноту:

— ...и-и-ла-а... о-о-оз...

Шепчут чьи-то шаги, всхлипывают лужи.

Вдруг чуткий огонек испуганно метнулся в сторону и замер: нежданно-негаданно из мрака родился человек.

— Ба, Вавила праведный подвизается, — голос провещал.

Воскрес Вавила:

— Кто тут?.. Кто тут?..

— Аль мошну набил, людей боишься!

Вперился взором:

— Никак Федор Нечесаный?..

— Я... Только, браток, понапрасну Нечесаным величаешь: жизнь меня не плоше, чем шерстобой куделю расчесала...

Вавила избавил кашу от мук.

— Упф... ух... упре-ла... — вздохнула каша.

— Ну и дух!... Инда кишки заворчали.

— Подсаживайся, только ложкой не обессудь...

— Э-э... плевое дело — пригоршней обойдемся...

— У-уп... горячо... Перелетом, аль угнездиться у нас хошь?

— Фа-фа-а... Летал по свету, чисто воробей: с тыну на крышу, с крыши на тын... Там зернышко клюнул, сям, — коли баба закалякалась, и кроха в брюхо. Жил не тужил, сам себе господином: ни я людям, ни люди мне...

— Видать ворону по перу — каким ты барином жил: больше, чать, окошки христовым именем грыз...

— Всяк бывало: оповойничалась молода — терпи.

Из-за Волги бабий голос все еще тужится:

— ... и-ила ... о-оз ...

— Отпустил бы хоть бабе-то душу на покаянье.

— Пускай ее, не надорвется, не впервой жилиться-то ей ...

— И-ик ... Эк, брюхо-то обрадовалось, давно кашей не баловал.

— Небось, ты, поди, и дивам надивовался, рыская по свету ...

— Повидал-таки ... Дако-се над огнем из обогнушки «пехоту» выкурю, беспокоит, проклятая, вишь, как паршивый поросенок расчесался ... Д-да, одначе я тебе скажу занозистее нашего народу ни в одной стране не сыщешь: чуть окуринился, сейчас словно коршуны задолбят ... Нет бы друг за дружку горой стоять.

— Ну, теперича, при новом-то праве, и куры загомонили, вон хоть бы наших мужиков взять, — у земского барина поместье в пух и прах разнесли. Допреж, бывало, завидишь, — душа в пятки уходит, за версту шапку мнешь, коли не увернешься, прямо ястребом налетит, да тэ-эк арапником вытянет ... Бедовый барин — так и прозвали Ястреб Ястребович ... Бают, все Европии объехал, трех иноземных ампираторов медалями отличен ... А теперь что стало ... анадысь перевозил ... Владыко милостивый! .. Индо жалость берет: обносился, хуже щипаной вороны, а глазами просто слопать готов ... не смиряется.

— Эх ты, Голубь Голубович, ишь разнюнился, жалко ему стало ... за эту вот саму жалость с нас, сиволдуев, и по семь шкур драли ... Нашему брату нельзя и вожжи ослабить, спервача чисто скотина в Егорьев день забрыкается-забрыкается, а потом шею сам под-

ставляет: садитесь, погоняйте... Разлопоушься только, они те так засядут, и вовéки векòв не скачаешь... Сказывали, — всю стройку в усадьбе спалили?..

— Да, вишь, ты, какая оказия вышла, — никак поделиться не смогли: народу почесть со всей округи слетелось: те к себе тянут, энти к себе, — чуть до стражения не дошло... значит, и порешили от греха — красного петуха пустить, не доставайся, мол, ни нам ни вам... а дом-от больно хорош был... вон училище который год поправить не удосужимся: седни-завтре, седни-завтре... вот бы под училище приспособить...

— Да-да, под лежачий камень и вода не канет, не может русский человек без кнута да погонялки обойтись.

— А я своим глупым разумом мерекаю: грамота-те нашему брату не с руки... Хоть бы Тараску Авдотьина взять, такой охочий к чтению, прямо книжку за книжкой так и глотает, так и глотает... и зачитался, ум за разум зашел, супротив, значит, бога пошел, грит, бога нет... Вот-те и грамота!.. Спасибо, дай бог здоровья дедушке Корнею, — вразумил: ка-ак сгребет за вихры, потаскает-потаскает, инда до земи пригнет, да все с уговором: «сукин ты, сын, а кто тебя, как не господь, по своему, значит, лику сподобил, быть бы без господа ефиопом»... Може, оно и на пользу пойдет: коли молодое деревцо с молоду не выправишь, так корявым и останется... Так-то, милок...

— Много, посмотришь, еще глины в башке у нас набито: иной раз галдим-галдим, что воронье перед ночлегом, своей же пользы не поймем. К примеру взять бы хоть полевую работу: копается каждый кротом на своей полосенке, путем не обработает, боится,

как бы не опахали, как бы не замяли, а почему бы скопом все поле огулом не обработать: и легче и сподручнее, а потом зерно по ртам и разделить... Сколько одной земли на борозды да межи задарма пропадает... Авось, когда ни на есть, да придет времечко: запряжем пахать, вместо сивки, машину...

— Ты бы, паря, посторонился малость от шалаша, не вспыхнул бы: эк, сказал — машиной пахать!.. чать, машина по рельсу али на пароходе едет, так тебе по бороздам и поехала...

— Поеде-ет... разум, брат, горы сдвинет...

— Ой ли!..

— Н-да... Нет ли махры на затяжку, двое ден не чадил...

— Заворачивай.

---

На небе ангелы принялись за работу: взяли по метелке и давай темь с облаков разметать, местами уже до чиста размели, посветлело. На краю, на востоке дело до драки дошло: кому-то нос расквасили... эк, облака кровью размазали, словно клюквы надавляли...

Скорее очищайте, вон сам просыпается, он те задаст на орехи!..

Просыпается и Ветер, отдувается: уф... уф...

Словно девка после беседы, разряжается Волга: сняла бусы разноцветные, распустила русую косыньку, эва какой волной волосье стелется...

...— О-о-е-ей, к-ак скор-ро утро-о... — удивились петухи в деревне.

Утро отдернуло занавеску с другого берега: замаячила церковь, избы, сады.

Встало солнышко, перекрестилось, приложилось к кресту на колокольне.

— Господи благослови... и за работу...

С колокольни хрипло кашлянул колокол, леший отголоском передразнил.

С горы к перевозу червем-дождевиком шевелится тропка, полная народом.

Идет дедушка Онисим, посохом шаги отмеривает. Подошел, голову опростоволосил, серебром тряхнул:

— Мир вашему собранью...

— Сядь, передохни, Онисим Матвеич, — буркнул Вавила.

Крякнул дед и с камнем слился, в Федора вгвоздился.

— Аль не узнаешь, дедушка Онисим?..

— Никак Федька!..

— Он самый... Постарел ты, дедушка, одначе...

— Постареешь... коли гольтепа на каждом шагу норовит каверзу тебе подстроить...

— Дом-от не ослобонили? — встренул Вавила.

— Где у кого теперь управы искать... — махнул дед рукой.

— Небось, с урядником лучше было, — не вытерпел Федор. — Помнишь, как отцу-то моему и померсть в избе не дал, на улицу вышвырнул, вот теперь и отливаются медведю коровьи слезы, каково...

— Не будь тем-то помянут, отец твой первый прощалыга был, да и ты в него задался... Нук-се, из собственного дома выгнать... Комитетчикам собираться негде... У тебя, говорят, все равно, пустой стоит... Кому какое дело... Хоть бы путные были, а то шантрапа одна набралась. Вот тебе и новое право!..

... — Эй, Вавило, чортово верзило!.. Будет цыплят высиживать... чего народ томишь, слышь, к началу ударили... — ропщут с третника.

Раскачался Вавила, поскреб поясницу, портки подсупонил, носом фукнул, родителей и всех сродников помянул, чтоб им не чихалось!.. Craftsman Приналег на шест, и третник, похожий на уснувшего леща, застонал, закряхтел и пополз к другому берегу.

Туда, где солнце лучами по зеленям катается, где Волга поцелуем жадным припала к прибрежным пескам, где крест в лучах сияет, и куда призывно манит звон... Туда, как мотылек на огонь, потянулся люд со своей тугой...

...Эй, люди, смотрите, не морока ли там!..

# ЧЕРВЯК

ЗАЖИЛСЯ ДЕД НАЗАР на белом свете. Ох, как зажился...

Давно чужой век заедает, с коих пор на базарной площади небо коптит...

Уже и площадь камнем вымощена, ряды каменные с лавками выстроены.

А город-то вд как — и в ширь, и в даль разросся: все слободки — и Хохловка, и Зареченька, и Живодерка — улицами стали.

Ничего не видит дед, сидит на тележке, где поставит Аниска, да Алексея-божьего человека тянет.

Слеп Назар, от старости туг на ухо и ногами еле-еле володает.

Кабы не Аниска, да не добрые люди, просто живьем ложись в гроб — и помирай.

Пристала к деду шалая девчонка Аниска, она его и поит, и кормит, и до-ветру к какому-либо забору свезет.

И «лазаря» подтянет, — благо голос молодой — звонкий.

Где старому одному вытянуть — задыхается, далеко ли слыхать? Подтянет Аниска, глядь, и богомолочки от монастыря свернули.

— Помяни воина Ивана за упокой.

— За упокой! — орет ему в ухо Аниска.

— А-а?

— За упокой!

— Да во-о-спо-мянет госпо-одь во царствии не-бесно-ем...

— Небесно-оем... — подхватит Аниска.

Тянет Аниска, а сама в чашку деда глазами ныряет: чуть опростоволосится старик, копеечку из чашки хвать и была такова. Гуляет по базару: семечки лущит или сайку жует.

Да не всегда удается: чуток старик, — чуть копеечка звякнет, норовит скорее схватить — и за пазуху.

Шарит в чашке, а руки у него так и трясутся.

Коли подвернется Анискина рука, — берегись, больно за волосье оттаскает.

На весь базар завизжит Аниска:

— У-у, жадюга!

---

Живет дед Назар...

Хоть и песок сыпется, но пьет, ест, шевелится — значит, живет.

Торговка какая в другой раз спросит:

— Дедушка, чай, помирать пора?

— Ась?

— Помирать, говорю, пора.

— Што ты, родная, умирать... Што ты, христос с тобой... Да чево ж лучче жисти-то может быть? А ты... умирать! В могиле-то успею еще належаться...

И закрестится.

---

Не видит дед Назар...

Площадь рты поразинула: под балдахином гроб глазетовый, венков — гора, попы с кадилами, певчие воем-воют...

Хоронят первогильдейского Типунова.

Торговки поминают да головой покачивают:

— Ох, кому бы только жить, да жизнью радоваться... а смерть не разбирает... Небось, одних радужных полны сундуки оставил...

— Когда ему жить-то? По-смерть покойник все хапал и хапал... Всю жизнь так и простриг купоны... Радости не видал.

— А скуп был покойник! Говорят, жил, — нищий не позавидовал бы.

— О-ох, суета сует!

---

Не видит дед Назар...

А площадь кипит, как куча муравьиная. От цветных платков, сарафанов, — будто лоскутное одеяло в глазах рябит.

Шум, гам, ржанье здоровкающихся лошадей — слилось в общий гул.

Чего-чего тут нет: дуги гора-горой; шаечки, лоханочки смолой, словно на праздник, надушились; горшки, как солдаты, повыстроились.

— Малой, дай-кось энтот, облитой-то!

— А я, Матрен, советую с разводцами взять... послушай моего совету, такой горшок не зазорно и в святхристов день на стол выставить...

— Али и вправду с разводцем взять?.. Нет, давай лучше облитой! Погодь-ка, давай с разводцами... Не худой ли?..

— Худой! Ты звон-то, звон-то, слушай... Малиновый!

— Кажись, ничего?

— Товар первосортный!

— Глянь-кось, Матрен, никак трещинка.

— Трещинка и есть...

— Проходи, тетка, не засть товар! Не меняем... Сама выбирала!

— Ах ты, Июда Скариет!

— Горшки!.. Горшки!

В красном ряду пуще суматоха идет.

И божье, и чортово имя так переплелись, что не распутаются. Каждый раз десять пожелал себе провалиться на «этом самом» месте...

Запотели, раскраснелись молодухи и красные девки: семь аршин ситцу на сарафан или алую ленту в косу выбрать — не шутка.

Поневоле задумаешься, когда ситцы-то лежат один другого ярче, — так и манят: меня возьми, меня возьми...

А уж как выбирают: и языком послюнявят — не линючий ли, и зубами проведут — прочен ли, и на свет посмотрят — не стал бы выгорать.

Мужики больше около дуг, хомутов; те не суетятся, выбирают с толком, основательно: товар лицом, — подошел и торгуйся на здоровье.

Без торга нельзя, — обычай русский такой.

---

Не видит дед Назар...

По площади с музыкой проходят юнкера.

Народ все форсистый да чистый, — еще бы, на чужой шее сидевши, хольным не быть.

Ноги враз поднимаются и опускаются, мостовая глухо считает шаги: ать ... два ...

Музыка играет — зовет к новой свободной жизни·

... Отречемся от старого мира...

Жуют мужики бороды, мусолят бабы концы платков — думают:

— Врут ... Для господ старый мир милей!

Не верится, чтоб за новый мир сверкали их штыки.

— Захребетники! ..

Раздалась команда:

— К ноге!

Много ружей, а щелчок один, и ружья у ноги.

Замерли.

— Оправиться, закурить!

Оживели.

Закурили.

... — Взводу занять почту, взводу казначейство ... В случае ... пустить в ход оружие ... Понимаете!

— Слушаю!

— В ружье!

Опять загудела музыка, опять заухал барабан:

... Так, так ...

Глухо мостовая считает шаги:

... Ать ... два ...

---

А трактиры гудят:

... — Ну, и времена же наступили!

— Лихие времена ... Не даром звезда с хвостом по небу летала.

— Читари бают, будто пред последним концом свет ...

— Кто-е знает ...

. . . — Коли сбросили царя, кажись, народу и повольготнее стало, да на грех волю баре забрали . . . Говорят народу: мы с вами заодно.

— Ой ли? — говорим.

— Пра, заодно!

— Ну, мы сейчас к ним: нам бы землицы малость?

— Вся земля трудящимся!

— Так, значит, суседскую барскую запахать можно?

— Ни в коем случае! . . Частная собственность неприкосновенна.

— А если так-таки и запашем?

— Военную охрану пошлем!

— Вот оно что!

Все сильнее и сильнее идет гуд:

— Гнать их взашеи!

— Что мы, в самом деле, без них не управимся, что ли? . .

— Дело мирское!

А солдаты-фронтовики: кто костылем стучит, кто пустым рукавом трясет:

— За что же, братцы, как не за землю мы и кровь проливали!

— Знаем мы их, сукиных сынов, еще по фронту, мягко стелят, да жестко спать нашему брату приходится.

— Вооружайся, товарищи, пока и совсем к рукам не прибрали!

Тревожнее и тревожнее гуд . . .

---

Не слышит дед Назар . . .

К базарной площади, сначала неясно, потом все слышнее и слышнее растут звуки, затем выливаются в слова:

... Вставай проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...

Густой толпой, вооружившись чем попало, идут рабочие и солдаты.

— Довольно поизмывались! ...

... — Товарищи! Займем этот угловой дом ... удобен для обстрела площади!

Быстро исполнена команда, — рассуждать не приходится:

— Дело общее!

Угловой дом оживел, заговорил тысячью голосов, в окна выглянули дула винтовок.

Насупротив, из окон казначейства, сердито ощетинились штыки юнкеров, — кричат:

— Рвань голопузая, вот мы вас как курей перещелкаем!

Отвечают из углового:

— Хвалилась свинья месяц слопать!

— Го-го-го! — грохочет площадь.

У юнкеров кто-то не вытерпел: в окне вспыхнул огонек, щелкнул выстрел.

Все вздрогнули.

Дымом заволокся угловой, — ответили залпом.

И пошла молодецкая потеха....

... Тра-та-та ... — заливаются пулеметы.

Как стая воробьев от ястреба, метнулась базарная площадь.

Торговцы пыхтят: спасают товары, — иной столько прет, что доброй лошади впору.

Прет, крестится, дрожит ...

С жизнью расстаться жалко, а товар еще жальчее.

Стон, давка, причитанье баб, выстрелы, свист пуль ...

Вмиг опустела площадь. Только у фонаря на тележке маячит дед Назар и тянет:

... Ты прости-тко, прости, да наш белый свет.
Ты ишшо-ко прощай, да сам Христос...

А сам шарит в чашке: пусто — нет подаянья.

Трещат пулеметы.

Думается деду: «Эко чудо, кажись, давно бы пора кончиться базару, а телеги все гремят и гремят... Куда же едут?»

— Ани-иска, — кличет он.

Нет Аниски, лишь гремят и гремят телеги.

— Экая баловень!.. Куда ж запропастилась?

Подошло деду бузло в гузне... К забору бы куда...

— Ани-и-ска... — плачется старый.

А телеги все громыхают и громыхают.

— Уж не конец ли свету... Не архангельский ли лик с колесницы трубит?..

Крестится дед:

— Мать пресвятая, сохрани и помилуй...

Маялся-маялся старый, намаялся — заснул.

---

Не видит дед Назар...

На площади средь луж кроваво-дымных лежат смертью примиренные враги.

Площадь оживает. Раскинулись палатки, загремели запоры лавок.

От монастыря плывет звон, зовет богомолок на молитву.

Прибежала к деду Аниска, калачик принесла:

— То-то, сердешный, натерпелся!

Жует дед — давится: двое дён ни макового зернышка, ни росинки во рту не было.

— Дешка, наши юнкарей разбили!

— Ась?

— Наши победили! — кричит Аниска.

— А-а, дай бог здоровья!

Не понимает старый.

Насытился и затянул:

> ... Ишша чем мати земля принаполнена...
> Принаполнена земля душами грешни-ими...

Живет дед Назар...

# КЛОПЫ

## I

БЛЕСНУЛИ ОЧКИ оконницы: в подвал заглянул подслеповатыми глазами рассвет.

Тускло зацвело лоскутное одеяло.

С одного конца одеяла, как птицы на ночлеге, прикорнули клюватые ступни, с другого — залохматилась овчина головы.

Голова зашевелилась, сучковатые руки заскрежегали по спине.

— Ах ты, кровопийца! .. Постой ... постой ... во-от я тебя ...

На койке насупротив оживели, рассыпанные по подушке, пряди льна.

— Ты чего, Кобячек, егозишься?

— Вон, кровопийца, потянул-потянул моей кровушки, да и на утек ... Каково спала, каково почивала, Ниловна?

— Ой, не столь спалось, сколь грезилось ... Не чуть стрельбы-то?

— Кажись, пристали ... Пора бы, который день палят да палят ... Чудные дела нынче пошли, воюют свои со своими ... Как только супротивника-то

узнают... На лбу, ведь, не написано: не то враг, не то единомышленник.

— Что и говорить, как есть ошалели!..

— Ать!.. Ать!.. Вот и попался... Ишь ты, вырывается, мошенник... Понимает, что давну, — и капут ему... Клоп, клоп, и то жизнью дорожит... А народ не дорожит... Скажи на милость, для чего столько молодого люду гибнет... Ах, ты!.. Убег, разбойник!..

— И-э-хо-хо... Селифан-то жив ли... Не чуть... Селифан, а Селифан?..

— Эй, Селифан, подох што ли, старый хрен!..

На полу в куче лохмотьев затуманилась борода, и слабо блеснула плешь.

— Ах, ядрена-зелена... Тьфу!.. Опять в конуре... А только-что сидел на бережку Волнушки... Солнышко, травка, птички, этак чили-чили... Душа радуется... И вот, други мои, не успеваю удочку забросить... поплавок — нырк... Значит, я удочкой этак чик — окунь!.. Закину опять — нырк... чик — окунь!.. И пошло: нырк — чик, нырк — чик... И начикал я мигом полнехонькую ведерку... Да все ровнячок — этак на фунтик что не больше...

— Не тревожил бы хоть... Бывало, на жнитьбу али на косьбу рано поутречку выедешь, да как глянешь по сторонам... Нешто словами-те выскажешь, что сердцем чуешь... Не-ет, не перескажешь...

В голове Ниловны мысли запутались в узелки, — хотела было она на слова распутать, да сердито тявкнул Кобячек.

— Развели турнусы на бурнусах... Словно и дело... Какие землеробы, подумаешь... Где чайник-то?..

Старчески закашляли под ногой Кобячка ступени за дверью.

---

Рассвет расположился в подвале по-денному: развесил тенью по углам одежонку и разметнул русую бороду от оконца до полу.

Вернулся Кобячек, в его руках плюется кипятком чайник.

— Ну, и холодище... Брр! Так и пронзает насквозь... Кабы товар не портился, — век бы сидел дома... Вон, яблоко-то пятном подернулось... Завтра же за «мякушку» продавай... Своих не выручишь...

— Да, по годам-то время бы нам и на печи полеживать, покрикивать: ей, Сенька, Ванька, Тараска, пора за дровами ехать!.. А на печи-то: под спиной все равно што на солнышке лежишь — теплынь... На потолке тараканы шушукаются... Эх, ядрена-зелена, и житье бы!.. Помирать не надо!..

— Замолол, замолол... Давайте-ка, старики, чаевничать...

Старики зафыркали чаем, катали беззубыми деснами крошки сухарей.

— Вот подберем останние крошки, да и помирать ляжем... Не выдают хлеб-от? — обронила Ниловна, подклевывая пальцами крошки на столе.

Кобячек шумно уркнул с блюдечка.

— Ишь, чево, старая, захотела... Хле-еба... Хм!.. Теперь только словами в волю кормят!..

— А што ж, ты думаешь... Иной раз слово бывает нужнее хлеба... Душу хлебом не накормишь, а словом ублаготворишь...

Заплел было кружевное слово Селифан, да Ниловна враз оборвала нитку:

— Ты, юродивец, уж молчал бы... Душу... душу... У кого теперь душу-то найдешь!.. Только и норовят, как бы друг дружке горло перегрызть!.. Говорили, прежде царь помеха всему... А без царя пуще перегрызлись... Кто жил в довольстве да в холе, и теперь тот в довольстве живет... Мы как гнили в подвале, так и догниваем... Вот тебе и уровняли всех...

Замолкли.

На лицах стариков — задумчивый летний вечер, когда пережитое, как старую рухлядь, трясешь перед собою: нельзя ли как-нибудь перелицевать...

За дверью дзинькнул детский голосок:

— Няня, я к бабуске потёй...

И другой голос, плоский, как курносое лицо, загудел:

— Нельзя, Витик... Нельзя, мама не позволяет...

А голосок все звенел:

— Я хосю...

Внезапно в подвале расцвел с золотистыми лепестками цветок.

— Ах, касатик!.. Чай-то, рученьки иззябли... Сядь, ласточка, — закудахтала Ниловна.

— Бабуска, а сказку... Жиль-быль вольк...

— И сказку скажу, золотцо...

Кобячек загомозился в своем магазине, выбирая, «чуть с пятнышком», яблоко...

— На-ка, красавчик, пожуй...

— Не бери, Витик, мама не позволяет!..

— А ты, Дуняша, не ерепенься... чай, мы тоже люди... Вот, так-то, почитай, с малых лет к брезгованью на людей и приучают..

— Барыня не позволяют...

— То-то барыня... Ребетенки, что наши, что барские — все ангельские душеньки... А наерундят ему: ты, мол, и такой и сякой... благородный, а другие шваль!.. Вырастет — и... ну, кичиться... Небось, и воюют из-за того: одни кичатся, другие в злобности к ним за униженье...

---

Лестница торопливо затараторила ступеньками. Сорокой впорхнула мама Витика: по белому платью черными крыльями расплеснулись концы платка.

— Дуняша, я тебе сколько раз приказывала не водить сюда ребенка... Еще заразится чем...

Лицо ее, как облако перед ветровым заходом солнца, красно.

— Мама, мне бабуска яблок дала... о-о — какой...

Развел Витик ручонками.

— Боже мой!.. Они его гнилыми яблоками накормили... Желудок разной гадостью расстраивают... Дуняша, так-то ты смотришь за ребенком?..

— Я... барыня...

— Замолчи!.. Пойдем, Витик, пойдем, милый, я тебе касторочкой очищу желудочек...

— Мама, я бабуску дяму... Да, мама...

— Идем, идем... Дуняша, возьми его на руки...

Витик молодым воробушком барахтался в цепких лапах Дуняши. Его унесли.

— Э-эх, господа... никакого понятия к человеку нет... Старики, торговать не пора?

Старики надели на руки «магазины» и закряхтели на улицу.

## II

День вышел — не в духе: хмурился облаками, лишь изредка ухмыляясь солнышком. Редкие снежинки долго кружились над заплаканным лицом мостовой, как бы боясь запачкать свои прозрачные юбочки. Ветер, словно зубами, впивался и рвал холодом дряблое тело стариков, скорчившихся у ворот над корзинками...

— Плохи дела-то, Ниловна... Так торговать — проторгуешься...

Ниловна только вздохнула. Скрипят ворота, скрипит и Кобячек:

— Кого в такой холодище без нужды на улицу выгонишь... А вон Селифан уж дремлет... Небось, рыбу удит... Хоть сыт, хоть нет, — ему все равно... только бы о рыбке подумать... Селифан... Клюет!..

— Ах!.. — встрепенулся Селифан, взмахнул рукой, как бы хватая удочку.

— Ха-ха-ха!..

Вдруг над улицей всколыхнулось зыбью небо: с размаху бухнул снаряд. Ляскнули дрожью стекла, за ним другой, третий... затарахтели пулеметы, зачмокали ружейные выстрелы, и пошло и пошло...

— На-ча-алось... — перекрестилась Ниловна, — батюшки, как близко-то... К нам не подобрались бы...

Из-за угла разноголосо захахакала толпа, с ружьями, так и сяк...

— Эво-на, где буржуи... торг развели!...

— Ну, и буржуи...

— Старики, утекайте-ка поскорей с своими корзинками!.. Не то плохо придется... Юнкера соседнюю улицу заняли... Сейчас сюда стрельбу откроют...

— Подожди, товарищ Дроздов, гнать их... Дай хоть яблок купить...

Внезапно над их головами вскрикнуло ужаленное пулей стекло.

— Эге-е... Поторапливайтесь, товарищи!..

— Родной, никак выбрал пяток... Кажись, не додал за все-то...

— Скидка, бабушка!...

— Отдай, Зубков... Тебе бы все зубоскалить!..

— Товарищи, идем, идем!..

Улица опустела. По-пчелиному жужжа, носились пули и впивались в стены.

## III

Из подвала рассвет вытурили сумерки.

Темнота ласково обняла стариков, огоньком копчушки чуть-чуть поглаживает по их лицам.

Кобячек разбирает свой «магазин», шепчет: «Мякушка», «дрызг», «с пятнышком»...

Вдруг в подвал вкатилась мама с Витиком, за ней занеуклюжилась Дуняша.

— Боже мой, боже мой!.. Две пули в квартиру влетели!.. Зеркальный шкаф вдребезги!.. Едва меня не убили... Спасите!.. Спасите!..

— Успокойсь, барыня, успокойсь... Авось, бог милостив... Говори, слава те господи, что не зацепила...

— Га-а-а... лосадку забый...

— Дако мальца-то... Лошадку забыл... Ай, ай... какое горе... А хочешь сказку... Жили-были два брата Василь да Кирилл, накосили они стожок сенца, пришла серая овца и съела стожок сенца, — не начать ли сказочку с конца....

— Лосадку забый... га-а...

— Ничего с тобой не поделаешь... Где же лошадку-то оставил?

— В конюсне...

— В детской, — подсказала мама Витика, — Дуняша, принеси...

— Мне, барыня, свет божий пока еще не опостылел...

— Ладно уж, схожу... — завздыхала Ниловна к двери.

Поднялась Ниловна в барскую квартиру, да так и ахнула: все-то шелк да позолота... а на столах, стульях солдаты расселись.

Кои из окошка палят, кои и на полу в кучу свалены.

— Никак мертвые?..

— Нет, живыми умерли!..

— Тебе чего, старуха, здесь нужно?..

— Мне бы вот мальцу игрушку взять...

— Игру-шку... Смотри-ка, как мы разыгрались...

— И впрямь, чай, до слез доигрались...

А снаружи по стенам так и хлещет свинцовый дождь и брызжет в окна, капли мимо Ниловны со свистом рассыпаются.

И заполз к ней в душу, как червь в яблоко, страх: просто не знает, как и до подвала докатилась.

---

— Приляг, касатка, с мальцем-то на койку... чай-то, притомилась.

— Квартира... вещи... мебель... Все перепортят, растащут!..

— Не горюй, — все перемелется — мукà будет... Наживешь еще. Дал бы бог здоровья...

Мама Витика кисло улеглась на койку...

Подвал замер. Только где-то, словно перелистывая книгу, шуршала мышь, да Селифан с Кобячком вперегонки гнались храпом.

На стене, в светлом пятне от копчушки, выползли два клопа, пошептались о чем-то и заковыляли один к Витику, другой к маме.

На носу Дуняши уже орудовали несколько клопов.

Заснула и улица тишиной.

---

— Ты «мякушку»-то, барыня, выбирай... Скуснее...

— О, боже... Даже и во сне не снилось, что попаду когда в такую обстановку...

— Ништо, касатка, поживем еще... Говори, слава те господи, хоть яблоки-то остались... Не то с голоду подыхать бы пришлось...

— И это жизнь!..

— Ништо, касатка, поживешь — привыкне-ешь... Ко всему привыкнешь... Мы, вот, всю жизнь так маемся, а все помирать не хочется...

---

Так свинцово-ненастилась улица без мала неделю...

«Мякушки» почернели, — съели, доели и «дрызг»...

И странное дело: животики у Витика и мамы не болели...

Нилова пыталась высунуть нос на улицу.

Вернулась — только руками развела — такие страхи принесла, просто уму-помраченье:

— Кремль до кирпичика разнесли, а над порушенными Никольскими воротами стоит на воздусях чудотворный образ святителя божия Николы угодника... Грудочка у него, батюшки, прострелена, кровоточит... из глаз слезинка за слезинкой, так и бегут... так и бе-

гут... Скорбит, милостивец, за нас, окаянных...

— Разрушить Кремль!.. Такое святотатство даже представить невозможно!.. Это вандалы какие-то... Когда ничего святого для них нет!..

— Справедливы твои слова, барыня... Истинно, хуже разбойников... Только никак не возьму я в толк... из чего же так упорствуют-то они...

— Понятно, из-за грабежа!...

— Если бы пограбить... Ну, пограбили, пограбили и успокоились бы... А то почесть целую неделю лупят друг дружку... Нет, тут что-нибудь да не так... Тут злоба великая... Мы люди темные, где нам всего понять... — встрепенулся было Селифан.

— Уж ты удил бы носом лучше...

## IV

Разведрилось.

Временами еще аукались заблудившиеся где-то выстрелы.

И хмурились пустыми окнами, как-будто изъеденные оспой, лики домов.

Улицы закишели людом. Кучками и в одиночку шаркали они местами еще по румяной от чьей-то крови мостовой. Лица одних зеленели шипеньем, других — лучились радостью.

А вдали рокотало:

... Вы жертво-ою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к наро-оду...

Слушает Ниловна, слушает и Кобячек, а дума грызет душу:

— Вот тебе и чист купец... Ни денег, ни яблок...

# АГИТАТОРЫ

## I

ЛИДОЧКА КОПЫТЦОВА решила, что все науки „мелко-буржуазны“, а потому и гимназию—по-боку.

Иначе она и не могла поступить, когда Коля Крестиков чуть ли не на каждом шагу «реакционеркой» называет.

Коля — человек образованный: носит брюки «галифе», маменьку зовет «маман», а по разным там «измам» — собаку съел, не даром в Союзе Молодежи без него и муха не пролетит.

Лидочка просто зовет: «мама».

Она любит свою маму, только скрывает: несвоевременно. Коля Крестиков говорит: мы должны бороться с деспотизмом родителей, в социалистическом государстве семьи не существует.

Под такой резолюцией Лидочка собственноручно, даже с кляксой, расписалась на собрании в гимназии.

Вот Катя Спирина — подруга, однокашница Лидочки — передовая, так передовая, своих папеньку с маменькой величает по имени отчеству: «Никодим Титыч, Ненила Никитишна» — какова!..

У маменьки Катиной вся спальня увешена иконами, и каждый праздник она подает просфору с записоч-

кой: «о вразумлении заблудшей девицы Катерины», а по двунадесятым служит молебны с акафистами «Сладчайшему Иисусу» и «Утоли моя печали».

Папенька носит чесучевый пиджачек, подстриженную бородку, а когда задумывается — мурлычет: «Коль славен»...

Подумакивал он было по русскому обычаю дочке пару задать, да боязно: при теперешнем-то столпотворении как-раз в такую историю попадешь, что и не расхлебаешь.

Махнул рукой: молодо пиво — перебродится.

## II

Союз Молодежи разгалделся, что грачи по прилете.

Слово «товарищ», точно мячик, так и запрыгало из угла в угол.

Голос Кати подпрыгнул выше всех:

— В деревне нужна агитация!..

Минуту — языки к нёбу прилипли, потом, как посыплется со всех сторон горох:

— Мобилизовать всех членов!..

Откуда-то послышалось воронье карканье:

— Товарищи, не будьте приготовишками!..

— Катя всегда умней всех хочет быть.

— Тише, товарищи! Говори, Катя...

— Да, товарищи, мы должны подойти к этому вопросу гораздо серьезнее: действительно, назрела необходимость агитации в деревне... Только молодежь своими огненными речами может пробудить мужиков от спячки, а город избавить от голода... Я сейчас кончаю... Мы должны действовать организованно. Я предлагаю избрать комиссию для распределения ораторов по местам...

— Правильно!.. Правильно!..

Словно тысячи кузнечиков враз застрекотали...

— Записывай, Лида... Кто желает?..

— Я... я... все...

— Лида, Катя, вы со мной, — подвернулся Коля.

— Товарищи, интернационал...

И полились весенним дождем звуки интернационала, цветной радугой заиграли в нем молодые голоса.

III

— Что за несносная машина: третий звонок, а не трогается.

— Лидочка, не выглядывай в окошко — носик простудишь...

— Какая ты глупая, мама... Все еще за ребенка меня считаешь!..

— Не ездила бы, Лидочка... Вдруг крушенье, — вагоны с рельс слетят.

Сморкнулась, глаза платком утерла.

У Лидочки и самой сердечко в кулачок сжалось, на глаза слезинку выдавило. Так бы подбежала к маме, обняла и целовала, целовала...

Коля задымил папиросой, глазами к носу треугольник построил:

— Женщины без сантиментальностей не могут обойтись...

— Николай... Брюки-то с френчем не разорви!.. Тогда смотри у меня!

Массивная, как царь-колокол, «маман» внушительно потрясла у окна зонтом.

— Что вы, маман... Не беспокойтесь, — не маленький.

— То-то!..

— Катенька, подойди к окну, я перекрещу тебя, детка...

— Отстаньте, Ненила Никитишна, со своими крестами!

— Ты бы, Катюша, хоть при посторонних-то постыдилась мать так называть...

— Вы, Никодим Титыч, человек архаический с допотопными семейными традициями.

Молодежь засмеялась: Коля немного с подвизгиванием как начинающий лаять щенок, Лидочка звонко, словно разбитое стеклышко, зазвенела, и замирающими раскатами зарокотал Катин грудной голос...

— Эх, пороть-то да пороть надо!..

— Совершенно справедливо, Никодим Титыч. Я своего Николая каждую неделю собираюсь выпороть, да за недосугом все откладываю... Теперь и без того голова кругом идет...

Отмахнулся: «что и говорить!..».

Застрекотал кондуктор. Машина спохватилась, гукнула и, как утка с выводком, поплыла по рельсам.

— Прощай, мамочка.

— Лидочка!..

— До свиданья, Никодим Титыч!.. Ненила Никитишна!..

— Эх, Катя, Катя...

— Николай, брюки-то берег-ги...

## IV

— Катя!.. Катя, какие красивые цветы... Видишь, лиловые...

— У тебя на уме одни глупости, Лида...

— Коля, как называются эти цветы?..

— Это... гм... Это, пожалуй, из семейства мотыльковых... Я, знаете ли, несколько близорук, не могу детально рассмотреть...

— Какие тебе мотыльки... Чать, мотыльки, летают... Эфто, барышня, Иван-чай... Гы-ы, мотыльки!..

Гыкнул с лавочки насупротив клетчатый платок.

Коля передернул плечами.

— Катя, да посмотри же, как бегут телеграфные столбы... Будто в салочки играют...

— Ты, Лида, сама ничего не делаешь, да и другим мешаешь... Учила бы свою речь, скоро выступать...

Лидочка уткнула носик в тетрадку, а губки червячками зашевелились.

А за окном с грохотом бегут леса, перелески, поля, речки, так и манят и манят к себе...

— И речь же я сочинил... Катя, Лида, слушайте...

Свисток. Вагон, как муравейник, закопошился.

— Уже приехали... Так скоро... Жаль, что не прослушали, поразились бы...

## V

Поле, как остриженная под машинку солдатская голова, — щетинится жнивьем и рыжевеет покосами.

Местами, беспорядочно разбросанными по палитре красками, колют глаза цветные рубахи мужиков с граблями или косой.

По сторонам в пояс кланяются матушке-ржи бабы — благодарят за каждую горсть колоса.

Еще солнце до полден не доплелось, а с трудовиков семь потов с подпотниками сошло.

Из деревни прикатился Андрюшка-Кубарь, — голова сомовья, ножки колесом.

— Дянька Иван... Ораторы приехали... Народ требуют...

Иван — словно не к нему, только зубы граблей жаднее в сено впились.

— Дянька Иван...

— Слышу...

Шаркнул с сердцов граблями о-земь.

— Клич народ... Вот напасти господни... Только что денек выдался... На, поди ж ты... Не сидится им там!..

## VI

Народ стабунился, — где крыши тенью нахлюпились.

Мужики враспояску; у баб на плече серп заснул.

Коля на обрубке, как восклицательный знак пред запятыми.

— Товарищи! Я предлагаю избрать председателем собрания товарища Спирину. Возражений нет?..

— Спирину, так Спирину...

— Слово принадлежит товарищу Крестикову.

— Товарищи крестьяне!.. Не ждите от меня панегирика, наоборот... я говорю, крестьянство в своих традициях ортодоксально, только мировой катаклизм пробудил от инертности и обскурантизма к активности.

Не так давно при латифундии аграриев, крестьяне находились в состоянии пауперизма, только современные перипетии пертурбировали патриархальный быт в коллектив...

Я несколько интерпретирую мою мысль... Индивидуум — ингредиент коллектива...

В стороне девок и парней кто-то взвизгнул.

У Кати брови свернулись змейкой.

— Товарищи, к порядку!..

— Товарищи, надеюсь, моя речь понятна и без комментариев?

— Как не понять... Вот уж как все понятно!..

— Ксы... ксы!..

...Ме-э... име-э...

Из-за Колиной спины выглянула пестрая морда теленка (и по-телячьи приветствовала его, лизнув по френчу).

— Чей теленок-от?

— Фалалеихин...

Теленок по-соколиному стал задавать круги...

— Ксы... ксы... Волк тя съешь!..

— Ты свою скотину-то волку сули... Ишь, раздобрился, чужой-то...

— А ты в стаде держи, не распускай...

— Тпруко... тпруко... пестрянка...

Вдруг вдали сверкнули кошачьи глаза молнии, и послышалось сердитое урчанье.

Глянули за крышу: батюшки, темная, как черный кот, туча с полден лапой солнышко заграбастала.

— Товарищи, я продолжаю...

— Товарищ оратель... Ослобони сено-то убрать... С утра еще растрясли... Не ровен час — обмочит, сопреет...

— Апосля мы хоть до третьих петухов готовы слушать...

— Как же, товарищи, я изложил вам одно вступление... Вся речь пропадет... Впрочем, могу снова повторить... Катя, закрывай собранье...

## VII

В поле такая суматоха поднялась, точно красная гвардия за отборкой нагрянула.

Только и слышно понуканье баб: «скорей, набирку подавай!.. подгребыш-то не оставь!..».

Мужики вилами орудуют.

Туча все больше и больше извивается хребтом, почти все небо облапила.

— Товарищи, не желаете ли нашим мужицким делом позаняться... Миру порадеть?

Попотчевал дядя Иван молодежь. Жена одернула:

— Больно смел... Мотри, попадешь в контрволюцию...

— Дура баба!..

— Катя, Коля, давайте работать?..

Схватила Лидочка грабли.

— Я не сторонник кустарной обработки земли...

— Ой-ой!..

— Эх, барышня, по ножке шаркнула... Ты граблище-то на отлете держи. Вот так...

Как не спешила туча, а когда прыснула дождем — поле уже покрылось бородавками-копнами.

— Слава-те господи!.. Убрались!.. Вы бы, ребятки, за копенку укрылись... Ваше дело к дождю непривышное... Вот, вот, под сено-то залезайте...

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Говоришь, голодно в городе-то... А вы бы, значит, на лето в деревню... Летом у нас не токмо што рабочие руки, и мизинец-то дорог... Поучились бы и мужицкой науке... Тоже, небось, не шутка, — спокон веку ведется, от стариков перенимаем... Свят, свят, господь Саваоф!

— Катя, мне страшно...

— Ты бы, Лида, и не совалась, когда такая трусиха.

А дождь взапуски так и носится по полю.

# ГЕРОИ

## I

ЛЕТАЮТ МУХИ, садятся, опять летают и опять садятся.

Адъютант крутит ус, звякает шпорами и зевает.

Зевает в полковой канцелярии и делопроизводитель, зевают старшие и младшие писаря, зевают даже и вестовые, когда идут оправиться, ибо остальное время они совсем спят.

Но ядъютант зевает не спроста, а подумакивает: «кого бы распечь»...

— Э-э... Позвать ко мне писаря Косолапова!..

Вестовой заморгал:

— Слушаю...

И хотел было лихо со щелком повернуться — ать-два... Да и повернулся бы, кабы не дверной косяк.

— Сскотина!..

Адъютант крутит ус и зевает.

— Так что, вашбродь, Косолапов в околодок ушемши...

— Не мог ты позвать Хворостова, сск...

— Слушаю...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адъютант зевает и крутит ус.

— Так что, вашбродь, Хворостов трое ден в команду отправлен...

— На пять суток, ммерзавец!..

— Слушаю...

Летают мухи — садятся, опять летают... и опять садятся.

Звенит шпорами адъютант, крутит ус и зевает: «запить, что ли»...

## II

Никита Силыч — в кабинете.

Глаз в книгу, глаз в счеты. Пальцем цифру прижимает, пальцем костяшки гоняет.

Борода у Никиты Силыча — серебрит, глаз у Никиты Силыча — косит, нос у Никиты Силыча — моросит.

А жена у Никиты Силыча: все отдашь, да мало!..

По сиротству сваха Кубышкина сосватала.

Никита Силыч в кабинете.

Впорхнула жена молодая и заворковала...

— Ах, бедненький, ах, старенький, ах, седенький... сидит-то он один одинешенек...

И платочком капельку с носа у него смахнула.

Никита Силыч — в затылок, а жена молодая лысину атласит.

— А у меня, Ниточка, к тебе просьба есть... малюсенькая просьба...

Никита Силыч глаз в книгу, глаз в счеты...

— Ах, он еще притворяется... Неблагодарный!.. Ему мало, что я загубила свою молодость... Красоту... Фи-и!.. Сопливый, противный!..

И ножкой брык, брык...

А на ножке: башмачек — скорлупка, чулочек — паутинка, и кружевцо подмигивает.

Никита Силыч глаз в книгу, глаз на ножку.

— Ну, полно, дюшенька... говори, что...

— Не подходи!.. Не подходи!.. Скажи прежде, что исполнишь!..

— Ну, да-да...

— Честное слово?..

— Честное слово...

Платочком капельку с носа у него смахнула. Губки к лысине прилипли, а глазки — вприпрыжку, вприпрыжку.

— Видишь, Ниточка, я думаю в нашем доме открыть лазарет... да, лазарет!.. У Марьи Дмитровны — лазарет, у Натальи Сергеевны — лазарет, у Капитолины Титовны — лазарет, у... лазарет!.. лазарет!.. лазарет!.. Марья Дмитровна встречается — губы поджимает... А губы у ней, как у нашей Феклы... Вы, милочка, не патриотка... для героев решительно ничего не сделали... Нельзя же быть такой бесчувственной... И она смеет мне так говорить!.. Всегда старается казаться молодой... Столько краски ни один маляр не изводит... А кожа — лимон, и лимон желтый... А туалет... у любой горничной больше вкуса.. и она...

— Ну, дюшенька, это о-о!..

— Как, ты от своего честного слова отказываешься?..

— Ну, я же предполагал, дюшенька, что дальше бриллиантов твоя просьба не перешагнет... это еще допустимо... перемена одной ценности на другую... Бросить деньги на лазарет — это о-о!..

— Противный... противный... сопливый!.. Ты хочешь, чтобы Марья Дмитровна улыбочками меня терзала... А-а?..

И по кабинету трр... — истерикой...

— Ну, полно, Нинюнчик, успокойся... делай, дюшенька, что хочешь...

Никита Силыч в кабинете.

Глаз в книгу, глаз в потолок.

— Ох, уж эти лазаретницы!

## III

Марья Дмитровна говорит, Наталья Сергеевна, Капитолина Титовна, Нина Павловна слушают.

Марья Дмитровна говорит, да и говорит ли... Посмотришь на губы, не колеса ли по дороге катятся.

— Вот и прекрасно, милочка, сделали, что своего скрягу раскошелили...

У Нины Павловны губки бутончиком, и лепестки чуть-чуть губной помадой пахнули.

А колеса Марьи Дмитровны катятся и катятся.

— Вы, милочка, и представить себе не можете, сколько хлопот, возни с лазаретом... Почти целый день только им и заполнен... Придешь в лазарет... раненые... Рубашечки на них беленькие... лежат и стонут... Особенно интересно присутствовать при перевязке... Стоны, крики, не человеческие... Такие страданья!.. А ты горда сознаньем, что делаешь великое дело милосердия, облегчая страдания... А вы, милочка, костюм сестры милосердия заказали себе?.. Непременно закажите... Ах, как идет ко мне костюм сестры!.. Николай всегда в восхищении... Он говорит: «вы одним видом страданья прекращаете»...

У Капитолины Титовны: одна губа — в Тамбов, другая — в Ростов.

— Идет, как вороне павлиный хвост...

— Что вы!..

— Да говорю, в моем лазарете один раненый... прапорщик... четыре Георгия имеет... Герой!..

Наталья Сергеевна, будто по ошибке, — подбородок вместо губ подкрасила.

— Вы не знаете, Магия Дмитговна, до чего Капитолина Титовна бессовестна... Я пегвая в поезде увидела подпгапогщика, а она к себе захватила... Есть чем хвалиться... У меня один есть без гук, без ног, как чугбан лежит...

— Едем-те завтра, господа, в лазарет Натальи Сергеевны... это страшно интересно... Как он живет... Ну, хотя бы ест, пьет... ну...

Колеса Марьи Дмитровны не надолго застряли на ухабе, потом покатились дальше...

— Да, кстати... завтра из-под Карпат поезд с ранеными придет... Бои шли ужасные, наверное, искалечены до невозможности... Пользуйтесь, милочка, случаем, выбирайте... Иногда больше двух недель все привозят одних легко раненых. Впрочем, я могу быть вашим чичероне [1])... Едем-те... Я и свой автомобиль уступаю вам для перевозки... Вы, Наталья Сергеевна, давно не видели Анюту Пудову?.. На-днях встречаю в гимнастерке, с погонами, даже в фуражке... на фронт едет!..

— Мало стало ей здесь офицеров...

— Моя портниха передавала, что новые моды на осенний сезон произведут целую реформу в костюмах...

[1]) Проводник.

— Неужели!..

А колеса Марьи Дмитровны катятся и катятся.

## IV

Лазарет и навощен и набелен.

Стены шикают:

«Ходить воспрещается».

«Лежать воспрещается».

«Сидеть воспрещается».

«Курить воспрещается».

«Петь воспрещается».

«Стонать воспрещается».

«Ругаться воспрещается».

Пять коек.

На них: четыре руки, четыре ноги.

При них: три креста на груди, два креста на рукавах.

На одной — ни рук, ни ног.

Около два креста на груди, один на рукаве.

— Ой, о-ой... Сестрица, не отдирайте повязки... А-в-в-в...

— Молчать!.. Держите его...

— Все равно не убежит...

— Вы что толпитесь?.. Только воздух портите... Вам сделали перевязку... Марш на двор!..

— Ваше высблагородье, дозвольте в лазарете остаться... Оченно зимно на дворе...

— Не разговаривать!..

Четыре ноги зашаркали, четыре костыля застучали, четыре руки замахали.

За окном автомобиль: брр...

— Попечительница приехала...

— Эй вы, одноногие, назад, назад!.. Скорей халаты долой, ложитесь!..

Пять коек...

Четыре руки, четыре ноги...

На одной — ни рук ни ног.

Около:

Наталья Сергеевна, Марья Дмитровна, Капитолина Титовна, Нина Павловна.

Два креста на груди, один на рукаве.

— Почему без меня пегевязали... Я думаю, могли бы обождать... Я пигглашаю на пегевязку... они самовольно делают... Это... это...

— Если угодно, Наталья Сергеевна, можно снова перевязать...

— Хотите, господа?..

— Нет... нет... что вы... Он так страдает... несчастный, ужасно несчастный...

— А может он повернуться?..

— Еще бы... Повернись, Галкин, на бок!

— Вашбродь... дайте какого ни на есть яду мне... Хоть к одному концу, чем мучиться-то!..

— Не дури, Галкин!.. Слышишь, дамы просят...

— О-о-ой! Будьте вы про... аввв...

— Несчастный, как он страдает!..

## V

Платформа. Рельсы. Вагоны: «40 человек, 8 лошадей»... «Срочный возврат»... «Вагон-ледник»... Рельсы. Вагоны.

Носилки, санитары, сестры, врачи...

Благотворительницы — в передниках с крестами и в косынках.

— Скажите, доктор, тяжело раненые будут?..

— Безногие будут?..

— Слепые будут?..

— Будут, сударыня, всякие будут... Немцы на этот счет мастера...

— Послушайте, почему поезд так запоздал?..

— В Ховрине скорый пропускает...

— Идет, идет!..

Паровоз махнул дымом и вздохнул: «У-ух»... Закрестили вагоны: «санитарный поезд имени принца Ольденбургского»...

В окнах — расстегнутые воротники, бороды, усы и просто безусые.

— Капитолина Титовна, бессовестная, я выбгала этот вагон. А вы его себе забигаете!..

— Куда, сударыня, прикажете носить?..

— Носите в автомобиль № 2357...

— Марья Дмитровна... Я беру этот вагон...

— Нет, милочка, лучше берите тот... Смотрите, в окне какой красавец мужчина... Какие усы!..

— Но я...

— Уж вы, милочка, положитесь на мою опытность...

## VI

Нина Павловна в автомобиле.

Автомобиль рычит.

Улица бодается, стреляет переулками, ловит углами домов.

Сердце Нины Павловны впереди автомобиля скачет.

— Шоффер, увеличьте скорость...

Нина Павловна в лазарете.

Пышной улыбкой цветет.

Сердобольные сестрицы. Скрючились раненые, двое лежат.

Лепестки облетели:

— Какие невоспитанные, не могут и минуты постоять...

Распустился новый бутон:

— Как вас звать?

Пышные усы, кончики кольцом.

— Старший писарь Косолапов, сударыня.

— Вы где в бою участвовали?

— Восемь маршевых рот нашего полка подо Львовом бьются, сударыня...

— А вас как звать?..

Подстриженные усы, пятнистое лицо.

— Младший писарь Хворостов.

— Вы в ногу ранены?

— Я... я... да, в ногу...

— Сестрица, послушайте... когда будете делать перевязку доложите мне... чтобы без моего присутствия не перевязывать!..

— Хорошо-с... Только не знаю, удобно ли будет вам...

— Это почему?..

— Да они все из команды венериков... Ну, знаете...

— Ка-ак?!. Ах, это Марья Дмитровна подстроила... Фи, какая гадость!..

И жжж — из лазарета.

VII

Никита Силыч в кабинете.

Глаз в книгу, глаз в счеты.

Влетела жена молодая.

— Это все Марья Дмитровна!.. Марья Дмитровна!..

— Что случилось, дюшенька?

— Марья Дмитровна!

— Что Марья Дмитровна?

— Понимаю... Она из-за Николая Ивановича мстит... Она к нему... Николай Иваныч говорит мне: «Не могу выносить эту кикимору»...

— Какой Николай Иваныч, в чем дело?..

— Взялась раненых мне выбирать... И выбрала... выбрала венериков...

Глаза у Никиты Силыча утонули.

— Хо-хо-хо!..

— И ты за одно!.. Понимаю... понимаю... Вы сговорились... противный, сопливый!..

— Ну полно, дюшенька, стоит из-за пустяков волноваться... Отвези их в городской лазарет и набери других!..

— Не хочу!.. Не надо лазарета!..

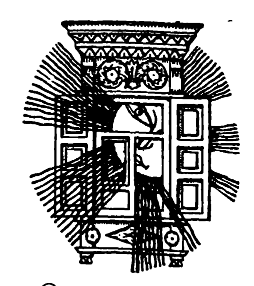
Никита Силыч глаз в книгу, глаз в потолок.

— Вот давно бы так...

---

# ВОЛЧИЙ ЗУБ

## I



ЗОЛОТОМ ПО ЧЕРНОМУ вывеска на всю площадь кричит:

«Т-ый Д-м А. И. ОПЕНКИН и С-н»,

и вторят ей простенки:

«сукно,
драп,
галантерея».

Окна жеманно пучеглазятся шелком и разной модной мишурой.

Спозаранок, как только дворники начнут вздымать шевелюру площади, двери уже расшаркиваются перед покупателями. Тогда из створок шумно, подобно засидевшимся в трактире гулякам, выскакивали слова:

...«извольте-с атлас, либерти... пожалть-с, самый лучш-с...».

А дверь все рубит и рубит:

...«дш... дш...».

---

В МАГАЗИНЕ:

Из-за конторки, в облаке цветных материй, сияет месяцем лысины «сам», — стреляет лучами заплывших глазок по магазину.

По за-прилавку столбенеют приказчики с проборами так и сяк.

Фукая, кувыркаются по материи аршины;

вьется трель счетов;

зыбуче клокочет живот «самого» смехом.

Перед «самим» пылит представитель лодзинской суконной фабрики.

(Сукна этой фабрики продавались за самые настоящие аглицкие. Если покупатель сомневался: «м-да»... ему: «посмотрите на таможенную пломбу-с»... А тиски от пломбы хранятся в конторке «самого»).

— Обижать изволите, Алексей Иванович... кровно обижаете, помилуйте, как можно равнять нашу фирму с фирмой Гиршман... Товарищество С. Френкель и К° в любой момент может купить фирму Гиршман, как какую-нибудь коробку спичек.

— Что фирма... Дело не в фирме, а в шивьете.

— Шивьет Гиршмана!. Пусть наши враги покупают шивьет Гиршмана...

... — Омялин, почему упустил покупателя?

— Им драп цвета моренго желательно-с.

— Ты продавай не то, что кому желательно, а что можно продать... Вперед не ротозей!..

— Шивьет Гиршмана!.. Помилуйте, уток бумага, основа бумага, шерсть в одном ворсе... И что такое ворс?

...— Ты чего на аршин накручиваешь?.. Меряй в откидку... Омялин, покажи ему, как надо мерять... Беда с этаким народцем... что ни кусок, то промер и промер... Разоренье!

— Ай, какой у вас, Алексей Иванович, острый хозяйский глаз... На три аршина сквозь землю увидит... Фуй, моя голова!.. Такая пустая голова...

Не мозги в ней — вата... Совсем пустякового дела не может помнить... Все держал, все держал в памяти... Нá, улетело... Ай, какая пустая голова!..

— Что такое?

— Ваш счетец... совсем пустяковый счетец... срок в прошлом месяце истек...

— Не веришь?

— Не верить вам!.. Как можно такие слова говорить... Пусть моим родителям в глаза начхают, если я не готов хоть на тысячу лет и забыть о нем... Видите ли, заключаем книги... а переносить остатком в новые... такой фирме... да это кощунство с нашей стороны будет...

— Ну, что ж, ращитываться, так будем ращитываться... Кажи счет!

— Извольте:

Лодзь, 18 ноября 1913 г.

**Т-во С. Френкль и К°.**

СЧЕТ

Т-МУ Д-МУ А. И. ОПЕНКИН И СЫН, В МОСКВЕ

| Мес. | Чис. | Продано Вам: | Количество. | Цена. | | Сумма. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 г. ноября | 18 | Кастор А. . . . . . . . | 400 | 2 | 20 | 880 | — |
| | | Сукно дамское № 83 . | 1000 | 1 | 80 | 1800 | — |
| | | Шивьет Б. . . . . . . . | 500 | 1 | 40 | 700 | — |
| | | | — | — | — | 3380 | — |
| | | Скидки 10% . . | — | — | — | 338 | — |
| | | Итого . . . . | — | Руб. | — | 3042 | — |

Т-во С. Френкель и К°. Три тысячи сорок два руб.

(Гербовая марка). Расчет: срок три месяца.

Деньги по сему счету доверяем получить А. М. Лапидус.

С. Френкель.

Месяц закатился за крышку конторки.

...— Та-ак... Значит, за наличный ращет три процента, за кредит два... итого выходит на скидку пять...

— Пять процентов!.. Что вы говорите?.. Пять процентов!..

— А-а... ты еще наличного ращета не хочешь? Что ж, дадим и векселек... Сейчас велю бухгалтеру написать девятимесячный... Скажи, пожалуйста, он наличного ращета не хочет, а?..

— Помилуйте, какой же это кредит... Когда от серий и февральский купон обкарнали.

Развел руками представитель, как бы собираясь от несправедливости вознестись на небо.

— Я не неволю... как говорится, вольному воля, спасенному рай... Что ж, будем дела с Гиршманом делать... тот, куда податливее...

— Полноте, Алексей Иванович, как можно таким первоклассным фирмам из пустяков разойтись... Извольте, я согласен.

Сам ласкает глазами бегающие в пальцах серии.

...— Изволите знать, Алексей Иванович, мануфактурщика Антипина.

— Еще бы не знать... помню, когда он тряпки по помойкам собирал.

— Ай-яй... Тряпки по помойкам собирал!.. Ну-с, извольте видеть, захожу как-то к нему в контору... В конторе он да конторщица, кроме ни души... И что же вы думаете, застаю...

Тут представитель и «сам» уставились над конторкой друг к другу носами, точно петухи перед боем.

Вдруг нос «самого» заклевал смехом:

— Ха-ха-ха!.. Ах он, апостольская борода, молодцов круглый год на капусте для душеспасения дер-
приказчика от волнистого: хе-хе-хе...

Смех раскатился по всему магазину.

Задрыгала золотая цепочка на жилетке старшего приказчика от волнистого: хе-хе-хе...

Закачались проборы остальных приказчиков, в извилистом: хе-хе-с...

Отозвался и в Гаврюшке — мальчишке-придвернике, чуть слышным отголоском: хи-хи...

Лучи вспыхнули молнией, — воробьи под застреху:

...— Гаврюшка, подай гипюр... кремовый, тебе говорят...

— К тафте бахрома нейдет-с...

...— Полдюжины пуговиц басонных, сорок пять... — счеты чвак.

— За пуговицы сорок пять! Да в уме ли ты?

— За басонные дешевле никак нельзя-с... Аршин каркаса — тридцать шесть — счеты чвак... два с четвертью канаус по восемьдесят две... рубль шестьдесят четыре... пол-аршина — сорок одна... четверть — двадцать одна — счеты чвак, чвак... всего два рубля шестьдесят шесть... Пожалуйте-с чек...

...— Честь имею кланяться... Заказик на шивьет выполняем...

— Ладно... Только чтобы был...

— Будьте покойны... Всего...

---

В конторе застрекотал телефон.

— Алло! Кто говорит? Сию минуту...

— Алексей Иванович, вас с фабрики просят.

— Слушаю... Я... А, Николя!.. Здравствуй, здравствуй... Что скажешь? Что!.. Как?.. Пере-

производство суровья?.. Это пустяк... сократи производство, рассчитай лишних рабочих... Что старо? Ну, где нам, старикам, за молодыми гнаться... Нас в кандидаты коммерции не производили... Ну, не буду, не буду. А ты, что поновее придумал? Да... да... И без тебя понимаю, что работать в полупроизводстве невыгодно... Что же делать?.. Забасто-овку? Хм... забастовку!.. Ну, я тебе скажу, с огнем не играй... Подожди, подожди... Ну?.. Так, так... Только, знаешь, что-то не верится, чтобы рабочие стали бастовать по нашему желанию... Да... да... Это дельно, иметь среди них горлодеров на особом содержании... для всякого случая... Дельно!.. А со служащими как? Понятно, с ними разговор короток, двухнедельный отпуск без сохранения содержания... Так, действуй, действуй!.. Я знаю, ты маху не дашь... Что еще?.. Барышня, не перебивайте!.. Что случилось? В каком отделении? В машинном... Кто попал?.. Масленщик... Сильно изувечился? Ну, четыре пальца на правой руке, пустяки... Как ты уладил?.. Не хочет 50 рублей пособия единовременно и лечение за счет фабрики?.. Заелся он, заелся!.. Вот, вот, самое лучшее, выставить свидетелей, что пьяный был на работе... Понятно, свидетелей найдется сколько угодно. Ты бы к фабричному инспектору завернул... Уладил бы?.. Так... поскорее... До свидания!

— Что у меня за Николя... Коммерсант с ног до головы...

— Все ученость, Лексей Иваныч, — подхальнул старшой.

— Да-а, не нам, серячкам, чета... кандидат коммерции...

От двери мягко замурлыкали козловые сапоги, и закруглилось брюшко с двумя рядами пуговок на староверском сюртуке.

Вошел оптовый покупатель — владелец магазина готового платья под фирмой:

**ПАРИЖСКИЙ САЛОН КЛИМА КЛИМОВИЧА КЛИМОВА.**

Его звали: «Клин Клиныч».

...— Лексею-ванычу!

— А-а, нашим ярославцам почет и уважение... Клин Клинычу!.. Как торгуешь?

— Ох, лучше бы не спрашивали, Лексей-ваныч... Лавку опечатали.

— Опечатали?

— Опечатали, Лексей-ваныч, опечатали.

— Ну что ж, домишко с торгов пойдет.

— То-то и беда, Лексей-ваныч, дом-то не мой, а женин.

— Жох!.. Уж успел на жену перевести... Дело привычное, кажись, третий раз шубу выворачиваешь... А нам сполна заплатишь? А?..

— Всей бы душой, Лексей-ваныч... больше гривенника не могу.

Лучи метнулись за стеклянную перегородку — в контору.

— Сколько долгу за Климовым?

В стекле зарыжела лопата бухгалтера.

— Ресконтро дебиторов откройте!.. Савинцев, слышите?..

Рядом с лопатой запятнилось лицо конторщика.

Чмокнула двухстраничными губами книга и заговорила чернильным языком:

ДЕБЕТ. Счет КЛИМОВА,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1913 г. | | | | |
| Мая | 12 | По счету за № 281 . . . . . . . . . . . | 7984 | 32 |
| Июня | 13 | „ „ „ № 487 . . . . . . . . . . . | 4988 | 21 |
| Ноября | 15 | Дисконт 8% по векселю 15/IV 1914 г. . | 333 | 33 |
| | | Баланс . . . | 13.305 | [illegible]6 |
| 1914 г. | | | | |
| Января | 1 | Сальдо на с/ч . . . . . . . . . . . . . . | 333 | 38 |
| Апреля | 14 | Протест векселя ср. с/ч . . . . . . . . . | 20 | 92 |

И выглянул из стального дворца — коммерческий бог:

**Вексель на 10.000 руб.**

15 апреля 1914 года по сему векселю повинен я заплатить Т-му Дому А. И. Опенкин и С.-н, в Москве, десять тысяч рублей. Торгующий по свидетельству 2-го разряда Клим Климович Климов.

...— Чево ты мне свои дебеты с кредитами разводишь!.. Скажи русским языком, сколько всего долгу-то?

— По опротестованному векселю — 10.000 рублей, по открытому счету — 354 рубля 25 копеек, всего — 10.354 рубля 25 копеек.

— Дай-кось книгу сюда!.. Эге, ты хочешь тыщенкой с небольшим весь долг покрыть... Нечего сказать, хорош гусь!.. Посидеть не хочешь? А?

— Что вам, Лексей-ваныч, за корысть в моем сидении... Не лучше ль покончить по-хорошему, по-любовному: пересрочить векселек и... опять ваш покупатель... В убытке вы не останетесь.

— Посажу!.. А это что за письмо? Я спрашиваю, что за письмо?.. Хм!

(Письмо лежало в книге).

Клима Климовича, здесь. КРЕДИТ.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1913 г. | | | | |
| Июня | 13 | Получено н/д . . . . . . . . . . . . . . | 2972 | 53 |
| Ноября | 15 | Получено векселем ср. 15/IV 1914 г. . . | 10.000 | – |
| Декабря | 31 | Сальдо на с/ч . . . . . . . . . . . . | 333 | 33 |
| | | Баланс. . . | 13.305 | 86 |

Москва 18 апреля 1914 г.

Милая Женя.

Ты не знаешь, не чувствуешь, какая тоска гложет мое сердце готовое ежесекундно остановиться... Вчера я долго ждал тебя там... На лавочке у двух лип, на которой еще зимой я вырезал Ж. и Ф. Было так тихо и печально. Хмурились в пруду черные липы. Голосили лягушки. Мелькали меж стволов белые пятна. И рвал темноту звонкий смех... И тот смех червем ревности точил мою душу... Мне чудилось, что твой смех где-то ласкает чьи-то другие уши... А когда из-за деревьев в пруду нырнула луна, меня... потянуло в холодной воде обрести свою могилу, чтобы мой труп был вечным упреком твоей измены... Знай, коварная если...

— Твое письмо?

Лицо конторщика — пестрее галочьего яичка.

— Мм... мое...

— И тебе не стыдно в конторе такой ерундой заниматься? А? Ты знаешь, во время дела себя должен забыть... Что счеты, что книга, что аршин, что ты — одно и то же... Понял?

— ? . . . .

— Владимир Григорьич, чем у тебя конторщики занимаются? А?

В лопате бухгалтера искривилась ижица.

— Не сижу я у них в душе... У меня своего дела по горло.

РАСЧЕТНАЯ КНИЖКА

с чернорабочими и служителями.

Кому выдана: *Феодулу Савинцеву.*

Кем выдана: *Т-вым Д-ом А. И. Опенкин и С-н.*

Мастерство или должность: *конторщик.*

Оклад: *30 рублей в месяц, на своих харчах.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1914 г. | | | | |
| Января | 31 | Выдано жалованье .......... | 30 | — |
| Февраля | 28 | » » .......... | 30 | — |
| Марта | 20 | Удержано за прогул 2 дня (по болез). | 4 | — |
| » | 31 | Выдано жалованье .......... | 26 | — |
| Апреля | 18 | Получил в окончательный расчет и никаких претензий к Т-му Д-му А. И. Опенкин и С-н не имею и иметь не буду. Ф. Савинцев ... | 18 | — |

— Алексей Иванович, простите...

— Ты думаешь, жалованье я тебе за баловство али из милости плачу.

... — Не махнуть ли нам, Лексей-ваныч, к Мартьянычу... там, в кабинете, за графинчиком, скорее столкуемся...

— А-а, пожалуй... Петр Иваныч, запирайся без меня... Подайте пальто...

— Хорошо-с... Омялин, подай пальто!

«Сам» медленно, с кряхтом влез в пальто,
снисходительно помолился на образ,
провел носом по склонившимся проборам
и запыхтел к двери.

---

Площадь разметала по мостовой куски серого сукна и насветлила медные пуговицы фонарей.

Время запорки.

Старшой звякает, шелестит выручкой:

под его рукой вырастают золото — белоголовые станицы грибов.

В сторонке цветнеют захватанными юбочками бумажки.

— Запирайте!..

Давыдыч (артельщик) загремел ставнями;

столпились на тротуаре;

помолились на перечеркнувший над крышами небо черный крест;

приподняли котелки

и закачались в бликах фонарей — кто куда.

В одной компании слышится:

— К «Арсеньичу», господа?

— Канешно... В «Саратове» полтора без закуски...

---

У «Арсеньича»:

белопятные столы;

беломечущиеся половые;

хриплоржущая машина;

вывернутые наизнанку души:

кои — без морщинки, кои и со складочками в уголку.

... — Приводят нас в участок... Ну-с... Околодочный, в чем дело? Дело было так...

... — Господа, господа, давайте-ка поближе к машине... Эй, человек, ну-ка, пузатенький, нам сообрази!..

— Порционный?

— Давай порционный... Там повторим...

— Ба, Федул, на радостях с ращетом запил, что ли... Подсаживайся за компанию.

— Господа... не-ет... а п-почему... скажем, я не могу жить... Сам живет, а мы не живем... П-почему мы должны махать аршином, щелкать счетами... корпеть над торговыми книгами... А жизнь обходит нас своими радостями... Прикуют нас к прилавку, конторке, вытянут силу, потом выбросят, как обертку от разбитого куска в мусорный ящик... п-почему это?

— Федул, не зевай!.. чего рассусоливать... тоску только нагоняешь...

— Н-нет, п-почему...

— Почему... почему... Смотри больше в рюмку, полна ли... Вот-те и радость наша!..

... — За это, Омялин, морду бьют!

— За что?

— За то! Не будь глазком!

— Я?

— Ты!

— Будет вам ерепениться... Тяните-ка...

— Чего он в самделе пред «самим» юлит... на нас выслужиться хочет.

... — Пелева, когда свадьба?

— Ах, да... господа, приглашаю... всех приглашаю... Не забудьте... вот:

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ.

Купеческая вдова Марья Мокеевна Поползнева приглашает Вас пожаловать на бракосочетание дочери Ненилы Карповны с крестьянином Ярославской губ., Угличского у., деревни Курьино. Василием Фаддеевичем Пелевиным. Венчание будет происходить в воскресенье, 25 апреля, в церкви святителя Николая Чудотворца, что на Дербеновке. Бал на Якиманке, дом 40.

— Что?

— Форменно! Ай да Пелева, с купцами родниться задумал.

— А ты что думаешь? У тещи, брат, было два собственных дома, две лавки... Эх, кабы покойник, тесть, не обанкротился... И показал бы «самому» я гонору... Знаешь, пришел бы в магазин, как ни в чем не бывало... стал бы за прилавок... Да аршин ка-ак пополам крак... Вот бы «сам» взбеленился... А я ему под нос бумажник... давай, мол, потягаемся, кто кого перетянет... Ну, и потеха была бы...

— Бодливой корове бог рог не дает.

— Небось и приданого отхватил?

— Господа, как пред истинным... ни гроша... да еще тещу содержать уговорился.

— С нашим жалованьем запоешь.

— Ведь я женюсь по любви...

... — Как сейчас помню, когда отошел «сам» от Сергея Иваныча-то, да свое дельце задумал завести... а в кармане у него было, как у турецкого святого... щивать, дальше, больше и сманил-таки к себе в комплиены к себе... тот у Сергея Иваныча-то правой рукой был, всем делом заправлял... Улещивать да улещивать, дальше, больше и сманил-таки к себе компанию... У того денжонки какие ни на есть были... Открыли у Проломных ворот лавочку, этак шага два длины, да полтора ширины, и начали кадило раздувать... Прикащиков не было, — сам животом мозолился о прилавок... Дело пошло... А потом обчистил конплиента, как белочка орешек, да из канпании, ровно скорлупку, голышем и выплюнул... С той поры сам в гору пошел... Эва, какой магазинище да фабрику

сварганил... А конплиен запил, да запил и докатился до золоторотца...

— Д-да-а... От трудов праведных не наживешь палат каменных.

... — Дого-ра-ай м-ая лучи-и-ину-у-шка-а...

— Догорай моя жизнь... Сожгла проклятая конторка... Га-а...

— Не вой, Федул... Свет, ведь, не клином у «самого» сошелся... Поступишь на другое место.

— Не-ет... не могу... Куда ни сунься, везде петля на шею готова... Не могу... Я жить хочу...

... — О-о, господа, если бы вы видели мою Лидочку... Антик муарчик.

... — А ты, Омялин, сука!..

---

В кабинете «Мартьяныча»:

из бадейки прицелилась бутыль;
купается электричество в бокалах,
сыплет искры хрусталя.

... — Так на чем же, Лексей-ваныч, покончим?

— Как я сказал, половину наличными и вексель на четыре месяца... из десяти процентов.

— Не могу.

— Как знаешь.

... — Не пригласить ли нам, Лексей-ваныч, канашек... Люблю, грешный человек, малинку!..

— Хм!.. Какой ты ерник, Клин Клиныч... Дело не закончил и уж скорее за баб... Хотя оно...

— Звоню... Звоню, Лексей-ваныч...

Официант изогнулся вопросом.

— Ну-ка, любезный, девочек... Только чтобы...

Пальцы смакнули щелчком.

— Слушаю-с...

За дверью затренькал смех, — в кабинет впорхнула стайка птичек.

Зашуршал шелк, заспорили запахи: духов, пудры, тела.

— Фу-у, каких одров привел... Их давно бы на живодерню пора... Ты мне блондиночку подай, чтобы кругом так и этак было...

— Пускай, Клин Клиныч, чернушка останется. Уж больно она зло выглядит.

— Остальные вон!..

По кабинету заколыхалось пуховое тело.

Клин Клиныч мусолит глазами скованное шелком тело:

— Сдобы-то, сдобы-то сколько...

Щипнул. Фальшиво извился визг:

— Ах, какие вы...

... — Как тебя, черноглазая, звать?

— Зина...

— Зи-ина... Ого-о, да ты хлещешь, как заправский алкоголик.

— Ах, как бы я желала совсем утонуть в этом вине...

— Что так? Аль жизнь не мила... Житье ваше веселое... птичье...

. . . . . . . . . . . . . . .

Бутыль кланяется все ниже и ниже.

... — Великое дело, Клин Клиныч, капитал... Ну, что я без капиталу — ноль... Капитал такую силу, могущество мне дает... Знаешь, как царь, могу казнить и миловать... Скажем, взять твое дело... Захочу — нищим пущу... захочу — посажу... захочу — на ноги поставлю... Так?..

— Все в вашей воле, Лексей-ваныч

— Ты чувствуй, Клин Клиныч... потому я сегодня в ударе... чувствуй...

— Чувствую... чувствую и благовею пред вами...

— За твою покорность... Пересрочу вексель на шесть месяцев... Чувствуй!..

... — Зина, попроси у папашки подарок... он сегодня такой милый, добрый...

— Ха-ха-ха... Хочешь, Зина, тебя со всей требухой куплю....

— Купи-ить!.. Меня купить... Нет, меня ни за какие капиталы не купишь... Купишь поганое тело мое, тело!

— Ты что из себя воображаешь?.. Паскуда!.

— А ах-ха-ха...

Бесшумный официант.

— Убери эту дрянь!

---

Понедельник на фунты не прикидывай, — тянет пудами.

В понедельник:

мастеровой за работу не примется;

купец дела не завершит;

приказчики прибираются:

хлопают куски, шмыгают коробки.

В голове приказчиков — иголки рассыпаны.

Хмурится и «сам».

Гаврюшка у двери ошалел:

палец в носу — ключем в испорченном замке вертится вокруг;

муха близко подвернется, — за ней по-собачьи ляскнет.

А на площади: подпрыгивают воробьи, переваливаются голубки.

— Эх, лихо бы камешком запустить!..

Прицелиться и — жжик...

Камень по мостовой — чок-чок...

А воробьи — «хитровцами» от городового шарахнутся.

... — Ты чего, паршивец, дремлешь!

Мотнул Гаврюшка головой и врезался в крик:

— Разбойная твоя душа!.. Хоть бы на сотку за весь мой капитал ссудил...

Видит:

перед конторкой птичьими крыльями лохмотий размахивает «конплиен»;

«сам» зеленеет, лиловеет, синеет;

старшой дрыгает цепочкой;

приказчики быстрее зашмыгали, захлопали;

покупатели косят глазом и губами.

... — Городового!.. Позовите городового!..—рыкнул «сам».

Зазвенел медалями городовой.

И вмиг:

«Конплиен» повис лохмами в ястребиных когтях, будоража площадь криком;

из-под Гаврюшкиной ноги завиляло подобие шляпы...

... — Каков мерзавец!.. — потер лысину «сам».

---

... — Кхм... Алексей Иваныч.

— Что-о?

— Я хотел... хотел попросить у вас, Алексей Иваныч, прибавки... жить трудно стало...

— Трудно, говоришь... Тебе одно брюхо трудно прокормить... каково мне — сорок вас... Не пришлось бы лавочку закрыть...

— Закрыть!.. Что вы, Алексей Иваныч, кажись, торгуем не в убыток... Покупателей, слава богу.

— А ты мои барыши считал?..

— Алексей Иваныч, в воскресенье моя свадьба... посудите сами, где же на это жалованье с женой и тещей прожить.

— Так вот оно что... значит, веселым пирком и за свадебку... Так, так... и все это без спросу согласия хозяина уладил?

— Я... я, по любви...

— Хмм!.. он по любви... Что ж, дело хорошее, женись... Женись, да и с богом, на все четыре стороны... скатертью дорога!... Скажи, пожалуйста, он любовь знает, а?.. аршином передернуть не научился!.. Вон Омялин с тобой вместе за прилавок стал и уже пять аршин в куске примеру выгоняет... Вот это я понимаю... и ценю.. Омялин!

— Что изволите-с, Алексей Иваныч...

— С первого пятерку набавляю.

— Покорнейше благодарю-с, Алексей Иваныч!

— Старайся... Подсчитайте Пелевину ращет!

— Алексей Иваныч, куда же я денусь?

— Это твое дело... Прибавить тебе не ращет... Не прибавить, — воровать начнешь...

... — За вычетом забранных — причитается к выдаче... пять рублей.

— Пелевин, получай!.. — зазвенел старшой в кассе.

— Алексей Иваныч...

— Жених!.. Ха-ха-ха...

И закачались проборы:

— Хе-хе-с... Жених!..

## II

## «МОСКОВСКИЙ ЛИСТОК» от 20/VII 1914 г.

Война с немцами:

(о наших задачах под Царьградом;
как наши орлы немцев клюют).

Хроника:

Самоубийство. — Вчера в пруду «Нескучного сада» всплыл труп молодого человека. При нем найдена расчетная книжка на имя Феодула Савинцева. Труп отправлен в морг.

Дерзкая попытка на грабеж. — В ночь на 19 июля ночной сторож, бляха № 329, задержал у мануфактурного магазина Т-го Д-ма А. И. Опенкин и С-н злоумышленника, повидимому, намеревавшегося взломать замок и проникнуть в магазин с целью грабежа. Отправленный в участок злоумышленник назвался бывшим служащим той же фирмы, Василием Пелевиным.

ЗА ПРИЛАВКОМ:

вместо причесок и крахмальных воротничков —
блестят лысины в мягких фантазиях и косоворотках:
неуклюже размахивает аршином Гаврюшка (он за год до срока стал за прилавок),
но уже внушительно прикрикивает на обрубковатого мальчика у двери: «пршивый ч-чорт».
Иногда щелкает и... подзатыльником.

---

На площади плеснулось пенье:
... — о-же ц-ря храни-и...
Все к дверям:
из створок выпер живот «самого»,
сзади вытягивают шеи приказчики.
Площадь:
пенится людом,

прыскает золотом — риз, хоругвей, икон, медалями городовых,

и цветным потоком вливается в устье улицы.

Голова потока урчит: урра-а-а! . .

Хвост завывает звоном стекол, треском разбиваемых магазинов немецких фирм.

По мостовой цветными червями извиваются под ветром обрывки материй и скалятся скелеты поломанных вещей.

Перекатывает «сам» через голову к приказчикам:

— Что за душа русская . . . такая мощь, такая ширь! . . Уж если разойдется . . . так разойдется . . . Любо-дорого посмотреть! . В квашню не втиснешь . . . это тебе не немец! . . А вы чего ротозеете . . . Какие ж патриоты после этого будете! . . Петр Иваныч, закрывай магазин . . . Смотри, выручку не оставляй! . . Вали, ребята, к Цинделю с Гюбнером! . .

Старшой заструился кадильным дымком:

— Ежели склады Цинделя с Гюбнером разобьют . . . завтра можно будет цены на мануфактуру процентиков на триста поднять . . .

— Ты дуром не бормочи . . . С Давыдычем от магазина не отходите . . . С немцев не перекинулись бы на нас . . . Понял?

— Будьте покойны, Лексей Иваныч.

---

У конторки протрубил в клетчатый платок Клин Клиныч и заструил по магазину нюхательным табаком.

— Лексею-ванычу! . .

— Мое почтенье! . . Что хорошего скажешь?

— Как мы вчера, Лексей-ваныч, немцев по всему фронту разбили . . . Не стерпел, и я согрешил . . . помог малость вашим молодцам склад Цинделя разнести . . .

Вы бы посмотрели, как ребята двух старух-немок в Канаве топили... Вот умора-то!.. Хе-хе-хе.

— Ха-ха-ха... За товаром?

— Сатинчику подкладочного кусочка три, в кредит не отпустите ли мне.

— Какой кредит!.. За наличные товару не хватит... Ты знаешь, сатин теперь кусаться стал... По рубль двадцать шесть продаем...

— Что вы, Лексей-ваныч, крест снять хотите?.. Третьеводни у Цинделя по сорок три брал.

— Так и ступай к Цинделю! Ха-ха-ха...

— Выходит, мы, дураки, на свою шею настарались.

— Небось, и ты накинул?

— Накинешь... Наш товар не по сезону, да и не к году... Как же насчет уступочки?

— Никакой!

---

По улицам раненые:

кто бережно, точно спеленутого ребенка, укачивает на костылях забинтованную ногу;

кто нежно поглаживает руку.

Однажды заявился Омялин:

На гимнастерке:

крестик и приколот рукав.

— Здравия желаю!

— А-а, герой!.. Где кавалером-то стал?

— Под Варшавой... Нашей 27-й дивизии пришлось сдерживать напор немцев... Чебурахнул чемоданчик, мне руку и... — улыбнулся Омялин.

— Зато отвоевался.

— По чистой... Служить, Алексей Иваныч, опять не примете ли к себе.

— Чудак человек... Куда ж ты безрукий годен... Пожалуй, если все двадцать молодцов с войны калеками придут... всех содержать, капиталу не хватит... Да!.. В севоднешней газете было: городская дума предполагает строить дома для героев-инвалидов... Вот и заживешь тогда на всем готовом.

— Да пока чтó, Алексей Иваныч... не то хоть руку на улице протягивай... Совестно!

— Что ж тебе совеститься... инвалид... Знаешь пословицу: от тюрьмы да от сумы не открещивайся.

— Алексей Иваныч, сделайте милость.

— Жарко было под Варшавой?

— Сущий ад... Алексей Иваныч.

«Сам» достал из конторки распятый белыми полосками рублишко.

— Вот все, чем могу помочь... Заходи...

— Э-эх!.. — отмахнулся Омялин.

III

Нежданно-негаданно зашуршала розовыми юбками революция и по-нотному запела марсельезу:

... (ре-си-ля-соль):
... Отречемся от старого мира...

Встретили с хлебом солью — думали: попоет, попоет, да и заживет честь-честью... а она такие пошла фортели выкидывать — просто уму помраченье.

---

Дверь испуганно взмахнула обоими створками, влетел не ураган, а главный директор, заправила фабрикой.

Головы приказчиков показали затылочный зачес.

Слегка качнулся к прилавку цилиндр,
два пальца страшо́му.
и загугукал:

— Папаша, все, что было на текущем счету, я перевел через Русский для внешней торговли, в банк... в Токио.

— Ты с ума сошел! .. Доверить капитал хитророжим макакам... Ну, я понимаю, англичанам или американцам... другое дело! ..

— На долларах или стерлингах много потеряем в курсе... на иены курс ниже... Надо же быть всегда коммерсантом, папаша! .. Держать капитал на текущем счету... Безумие! ..

— Так-то оно так... Может, еще эта канитель в ничью и кончится...

— Безусловно! .. Вопрос во времени... Только не думаю, чтобы скоро кончилось... Вы послушайте на фабрике: у рабочих только и разговору про какую-то «настоящую» революцию... Выходит, эта еще не настоящая... Пока они наиграются... мы же окончательно разоримся... Надо спасать капитал! ..

Глубокий вздох крылом ласточки прорезал воздух:

— Ну, и кутерьма...

---

Много всяких подвохов ожидали от революции, но взляга октябрьского никак не ожидали, — как взглянет:

что ни забор — декрет, что ни декрет — забор.

Народ, словно вода из берегов: ни удержу, ни сладу.

«Сам» только лысину елозит:

молодцы совсем от рук отбились — слов хозяиских в резон не принимают... хотел было озорников смахнуть — ему:

... «без согласия комитета служащих и рабочих не имеете права-с»...

А все Гаврюшка-молокосос ерундит, так-то за хозяйскую хлеб-соль благодарит: ведь, четыре года кормил, поил, подлеца в люди выводил...

— Подождите, только бы... только бы... Запоете еще у меня...

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 281.

15 января 1918 г.

| | | |
|---|---|---|
| Выдано по приказу А. И. Опенкина . . . . . . | 50.000 | — |
| Руб. . . | 50.000 | — |

*А. Опенкин.*

Бухгалтер *В. Голубев.*

---

Старшой зашуршал бумажками.

Откуда ни возьмись Гаврюшка:

— Почему выдаете без визы рабочего контроля?

(Гаврюша был секретарем контроля).

Старшой опешил:

— То-есть, как?.. По хозяйскому приказанию...

— Никаких хозяйских приказов без ведома контроля не может быть!

«Сам» закипел:

— Что-о? Как!.. Хозяин не может своим капиталом распорядиться?.. Да я тебя, мерзавец, и с контролем-то твоим!..

— А вот, прочтите:

## ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О РАБОЧЕМ КОНТРОЛЕ.

**1) В интересах планомерного регулирования народного хозяйства во всех промышленных, торговых, банковых, сельскохозяйственных, транспортных, кооперативных, производительных товариществах и пр. предприятиях, имеющих наемных рабочих или дающих работу на дом, вводится Рабочий Контроль над производством, куплей, продажей продуктов и сырых материалов, хранением их, а также над финансовой стороной предприятия.**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**8) Решения органов Рабочего Контроля обязательны для владельцев предприятий и могут быть отменены лишь постановлением высших органов Рабочего Контроля.**

... — Вот как! Выходит, — рабочие и служащие жалованье хозяину платить будут . . . Желал бы я знать, в каком еще государстве такие мудрые законы были . . . чтоб рабочие чужим капиталом распоряжались . . . Ты управляй государством, устраивай революцию, но чужую собственность не трогай! . . Не трогай . . . Не тобой нажито . . . Наживи свой капитал, тогда и распоряжайся . . . Я хозяин своему капиталу! . . Петр Иваныч подсчитал?

— Боязно, Алексей Иванович, выдать-то . . . Теперь, сами знаете, ни суда, ни закона . . . «к стенке» . . . и весь сказ . . .

— Баба! . .

Приказчики только глазами хлопают:

— Ай да Гаврюшка, как он «самого» жиганул . . . Отошла, видно, коту масленица!

---

Час от часу не легче.

Вести с фабрики:

главного директора отправили на принудительные работы;

фабрикой управляет коллегия рабочих.

«Сам» за голову:

— Машины перепортят!.. Растащат!.. Разорят!..

Метнулся на фабрику.

«Товарищи» — ему:

— Фабрика национализирована...

Казалось, не слова — раскаленные гвозди вбивали в сердце.

---

По городу рыскали слухи:

«о национализации торговых предприятий»

Трепетали заячьи души:

— Чтоб частную торговлю уничтожить... Миллионы людей по миру пустить... Этого не может быть!

А под шумок всяк норовил урвать клок, другой из капитала и тащил в укромную норку.

«Сам» «на случай» прихватил торговые книги:

— Спаси бог, еще пропадут, и долги — поминай как звали.

Пришли «товарищи»:

описали товар;

на двери высунула красный язык печать.

Приказчики сверлят Гаврюшку глазом:

— Ты заварил кашу, а расхлебывай — все!

Гаврюшка и ухом не ведет:

— Без дела не останемся.

Помотали головами:

— Толку не жди!..

Махнули рукой и заскрипели по белизне площади.

«Сам» без шапки, прилип к двери, и не чует он, как на лысине умирают редкие снежинки.

---

— Лексей-ваныч!..

Встрепенулся.

Отклеился от двери, видит, около воробьится Клин Клиныч.

— Господи, что же такое!.. И мою лавку припечатали... Диви бы я капиталист какой был... Прямо денной грабеж!..

— Хуже... Грабитель если и ограбит... снова разжиться можно, а тут... выходит совсем на смарку...

— Не пойму... хоть убей — не пойму, как можно мое... пóтом-кровью нажитое отнять... И кто отнимает?.. Отнимает государство!

— Подожди, Клин Клиныч, мы свое возьмем... Да как еще возьмем-то!..

Враз выросли крылья, полетел по тротуару и тряс вслед ему Клин Клиныч бородой:

— Дай-то бог!..

---

... — Лексей-ваныч, балансик подводите... Как нас товарищи-то забалансировали... что не скоро и разбалансируешься.

Счеты затихли.

«Сам» растеклил глаза.

— А-а, Клин Клиныч, сколько лет, сколько зим...

— Давненько, Лексей-ваныч, давненько не видались...

— Что поделываете?

— Вот занялся от нечегоделания проверкой книг... Сейчас прикинул долговую... И что ж ты думал? Что ни щот рубль, два — прочет... Всего двадцать один рубль шестьдесят две копейки набралось... Подумать надо!.. Коли по-добру, по-здорову, господь приведет открыть магазин, бухгалтера другого взять. Разоренье с такими служащими.

— Слышно, магазины скоро обратно отдавать будут... вишь, товарищи никак не сообразят.

— Самое любезное дело... Где справиться... народ шалый все пошел... Только бы товар господь сохранил... Не растащили бы... Какая там охрана... И что охране... не свое ведь... я, почитай, кажинный день хожу к магазину... проверяю, цело ли.

— Я тоже от лавки почесть не отхожу... Вот и давайте вместе охранять... Поваднее...

— Дельно!..

«Сам» остеклил глаза.

Опять заквакали счеты.

... — Триста пятьдесят один рубль сорок... сорок восемь копеек... Четыреста пятьдесят семь...

Клин Клиныч у печки отфыркивается.

— Славную печурку завели... всю-то на ладонь поставить можно, а тепло... Ха-а, благодать! А у меня в комнате инда мозги мерзнут... Дровец ни щепочки, мебель сжег... И вас уплотнили... Это в одну комнатушку втиснули.

— Да-а... Тысяча девятьсот сорок три... тридцать три...

— Николай Лексеич, где?

Счеты оборвались.

— Ох, не спрашивай лучше... не терзай мое сердце. Ну-ка, Николю запрятали под Симоново барки грузить... по колено в воде... Ево ли это дело? Привык к холе да барскому житью. И все я... я виноват... Собирался Николя за границу укатить, я отговорил... вот и мается из-за меня!..

— Лексей-ваныч, вы где обедаете? Мне в столовку пора... В четвертой очередь занял... идемте вместе... там, кажись, «советский пирог»...

— Как жизнь внезапно перекувыркнулась... думал ли когда, что гнилая картошка да сухая вобла роскошью станет... бывало, заедешь в ресторан...

— Лексей-ваныч, одевайтесь, опоздаем...

— Тошно, Клин Клиныч, тошно так жить!..

---

4-я СТОЛОВАЯ М. П. О.

Меню:

| | | |
|---|---|---|
| Щи с воблой | . . . . . . . . . . . | 200 кал. |
| Вобла разварная | . . . . . . . . . | 800 „ |
| | Всего . . . | 1.000 калорий. |

По тротуару вьется веревка очереди и косо режется белыми нитями падающего снега.

— Что сегодня?

— Советские рябчики-с... да калории с гарниром-с...

— Что такое за кушанье?..

— Поешь... узнаешь...

... — Входи, граждане...

... — Ты куда без очереди лезешь?

— Товарищи, я два дня не ел... Пропустите...

— Он не ел?.. Кто теперь ест!

Приятели в столовке:

В миске хлебова выуживают хвосты и головы вобл;
чавкают под перекрестным огнем глаз, устремленных из натянутого на кости пергамента;
над выплюнутым недоедком дрожат проводами жил несколько рук.

Всюду — ляксанье и рычанье:

— Товарищи до чего довели...

— Уравняли...

— Только равняли-то по кривому аршинчику!

Из угла гноилось шипенье:

— Недолго покуражатся... Деникин под Курском...

...— Слышал, Клин Клиныч?

— Слушаю, слушаю, Лексей-ваныч...

Пораспарив обвислые, пустыми кулями, животы березовым чаем, они шли к магазинам.

Любовно обнимали взглядом закованный стеклами товар, вздыхая:

— Ох, товар весь перепортится!..

Пристроились на приступке и ведут деловой разговор.

— Я подумакиваю, Лексей-ваныч, вывеску подновить... наш покупатель всегда на вывеску бросается.

— Давно бы пора...

— Прежде за делами не до вывески... Крутишься, крутишься, словно в вихре каком...

— А я думаю и соседний магазин снять... Ходко торговля пойдет... Сколько конкурентов обанкротятся!.. Для оборота капиталец как-нибудь наберем... Николя в Японию кое-что успел перевести... Только убытки... убытки... убытки... Ох, какие убытки!

— Что убытки... Привел бы господь магазин открыть, — вернете... Я, вот, «Заем Свободы» отхватил на все кровные... Когда смахнут большевиков, думаю, что не пропадет.

— Еще бы пропасть... ведь, бумаги правительственные, не большевистские.

Так беседовали они, а небо все ниже и ниже опускалось на крыши домов.

Подошел милиционер:

— Старики, домой пора!.. Довольно насторожились...

---

С утра «самому» не по себе:

Кошка когтями душу дерет:

— Жулики в магазин не забрались ли... Хоть бы Клин Клиныч пришел скорее — душу новостью погладил.

Глядит на часы:

часы не идут — ползут...

А кошка царапает и царапает все больней и больней, не стерпел:

И зарырыкал снегом по площади.

Глядь:

у магазина — целая вереница лошадей на морозе дымится,

из дверей — возчики волокут охапки цветных полен...

— Мой товар... мой товар увозят!.. Грабят!. Городов... милиционер!..

— Ты чево, старик, разоряешься?.. С ума спятил?.. Вишь в путевке: пятый склад Центротекстиля... вот и перевозим...

— Чужой товар перевозить... без согласия хозяина... Да что же это такое: торговать?.. Торгуй в магазине...

— Не наше дело.

— Чево он?

— Вишь, ево товар.

— Твой товар, старик, Митька прял...

— Товарищи, обождите... я схожу, разузнаю... Не может быть... Мой товар...

Не мешайся!.. Чай, дело делаем...

Вдруг:

итти хотел, — ног нет;

закричать, — голос испарился;

опустился на приступку,
беззвучно шлепает губами,
бежит глазами за каждым куском,
и казалось:
вынесенный кусок — оторван от сердца.
Не слыхал он, как прозвенели ключи.
Не слыхал и оклика:
— Шел бы, старик, домой... замерзнешь!..
Над площадью:
с колокольни заныл звон;
поперек улиц, от фасада к фасаду развернулись куски кумача;
кумач полинял в розовую кисею;
кисея расплылась серым коленкором.
Заскрипел милиционер:
— Эй, старик, заснул, что ли...
И по серому фону прокатилась дробь свистка.

# БОЛОТО

ЛЕС, БОЛОТО. Болото, лес...

В лесу, известно, — леший гогочет да кикиморы в болотной хляби ныряют.

Там им и место привольное.

А вот деревня Пеньки не своей волей в болото плюхнулась,—была на то встарь воля барская, непреклонная.

Да где человек не приживется.

Прижились и пеньковцы на болоте, расчесали гриву леса просеками, оплели изгородой выгона, закурили хлебными гатями, — и живут.

В лесу своя грамота-наука: бойко чтут пеньковцы и заячью вязь и кунью скоропись, разбирают и титло медвежье.

Не любят пеньковцы городскую грамоту, ох, как не любят: вызванивает она колокольчиком станового, слова все такие, что невольно рука к пояснице тянется.

На городскую грамоту на все Пеньки один только Панкратыч — отставной николаевец — горазд.

Складно старик аз с азом складывает и плотно слово к слову пригоняет.

Еще бы не пригонять, коли азы в строю лозой крепко в спину вогнаты.

Городские слова Панкратыч и без очков прочтет: приходят только бумаги разные, а слова одни и те же: «оброк», «недоимка»...

Вдруг Михеич — рассыльный, из сумки: «мобилизация» выгрузил.

Мерекал-мерекал Панкратыч, очки переносьем вверх перевернул — не выходит, аз к азу подходит, и слово из азов складывается, а что значит? Мутна водица болотная.

— Это, — говорит, — кака нито ошибка вышла, другой министерии бумага.

Протер Панкратыч очки, бумагу на божницу, за спину Николе-угоднику положил.

Пеньковцы за свои дела принялись: кто за косьбу, кто петли на птицу или зверя настораживает.

— Не нам, так и ладно!

Глядь, орава стражников в деревню нагрянула...

Колосилась рожь, цвела гречиха, а в деревне слышалась молотьба.

— Бунтовать!.. За веру, царя, отечество умирать не хотите!

И пол-деревни в город.

Спасибо болоту за топи зыбучие, за тропки непроходные: выручало от станового, выручило и от стражников.

Из города на рысях прикатило еще новое слово: «дезертир».

После него долго в деревне петухи не голосили, коты сметанкой не облизывались... А стражники крутили усы!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вести с воронами в лес прилетели: зыблется народ, словно кочки на трясине.

А слухи иной раз, что запах сосновый весной, — душу радует: колокольчик станового полетел к рожнам...

А там и опять Михеич: «мобилизация», «дезертир» — принес.

И комиссар: «трудповинность», «гужповинность» — привез.

Знают теперь пеньковцы эти слова — хорошо знают, а лучше знают топи болотные: ищи, свищи ветра вольного.

Опять комарам на болоте пир горой.

---

На Кузёмку Никитина блажь нашла: хочу, дескать, в Красную армию — и вся недолга.

Отец:

— Аль тебе болот мало, дезертирничай в волю.

Кузёмка:

— Хочу!

Ум хорош, два лучше, — позвал Никита свата Ивана.

Сват Иван — пень-сосна, коряв, а башковит.

Сват Иван:

— Ой, Кузёмка, не дело задумал!

Кузёмка:

— Хочу!

Ум хорош, два лучше, а три и подавно, — позвали кума Гаврилу.

Кум Гаврила не столько говорит, сколько трубкой дымит, а если скажет, все равно, что кряж в два обхвата свалит.

Подымил, подымил кум Гаврила, потом и говорит:

— Кузёмка, Кузёмка, не блажи! Не блажи, говорю... Я Варюху за тебя прочу.

Кум Гаврила скажет — кряж свалит; Кузёмка в загривок: укусило, должно...

Укусит, коль Варюшка — земляничка-ягода душистая!..

Кум Гаврила — трубку о ноготь, сват Иван — лицо в рукавицу смехом сморщил, Никита—бороду в зубы,— жует.

— Что?..

А Кузёмка:

— Хочу!

Тут сват Иван, кум Гаврила и отец в один голос:

— Ну и дерево же ты стоеросовое!

Делать нечего, снарядили Кузёмке котомку с полотенцем через плечо узористым и... скачи-прыгай русак, токуй тетерев: Кузёмка в Красной армии.

Азбукал Панкратыч все по грамотам начальским, теперь маракует в письмах Кузёмкиных.

Пишет Кузёмка, как он мужика от господ в защиту берет, как он и поляков с земли крестьянской гонит.

В письмах были Кузёмкины слова, да не было Кузёмкиной руки.

Может, и слова-то не его, — ведь неграмотный, что слепой: скажешь так, а грамотей напишет инак.

Да как-то в письме буквы, словно сучья на ели сухой, во все стороны топорщатся: «п-а-п-а-ш-а»...

— Ково ж это он величает? — усомнился Никита.

— Погодь, погодь, померекаем, — зажал Панкратыч аз на останове.

— Выходит тебя, вишь Миките Анкудинову... Ты смотри-ка, написал собственной рукой!

Крикнули свата Ивана, сват Иван мимоходом прихватил кума Гаврилу, кум Гаврила — свояка Терентия, свояк Терентий — крестника Яшку.

Никита ногтем буквы колопнул — не сколупываются, сват Иван букву от буквы прикинул — промежуток в полпальца, крестник Яшка языком лизнул — не слизывается, спасибо свояку Терентию — наставил на ум:

— Сразу видно Кузёмкину руку... Вишь азы, словно петли на тетеревиной тропке насторожены... А кто же, кроме наших пеньковцев, может...

— Гляди-ка, и взаправду на петли похоже... Ай да Кузёмка!

— Голова!

— Чай, наш, пеньковец!

— Как в науку-то скоро подался... Мне, бывало, за каждый аз по двадцати лоз всыпали, пока осилил. Царство небесное командиру... Бедовый был полковник! Бывало, говорит — выбирай: иль на смерть запорю, иль грамоте учись!

— Напрасно бы: чай Кузёмка ни чьего, моего рожденья!

---

Идет год за годом.

Год от году лес лысеет вырубками, болото зеленеет покосами, и реже медведь скотину дерет...

То пеньковцам не диво, — диво то, что Кузёмка, — пишет, — начальством стал: не только ему голову моют, и он кой кому намылить может.

Михеич с телеграммой в Пеньки нагрянул.

... «Демобилизовался, встречай на станции»...

Долго раскумекивали: не то денег уйму, не то добра гору нажил, только и поняли одно: ехать на станцию.

Никита выехал на дровнях, сват Иван на пошевнях, кум Гаврила запряг возок.

Возок для Кузёмки, дровни с пошевнями на добро.

Уговор был, чтобы харч свой, а самогон Никиты.

До станции — шагом двое дён, труском — полтора.

Ехали труском.

Приехали, словно на тетеревиный ток: такая суетня, такая толкотня...

Думается, скажи, живи здесь.. Давай хоть ежедень самогонки первачу по ведру — не надо!

То ли в лесу, милое дело: медведь коли заартачится — рогатина успокоит, а тут...

Змеей зашипел поезд.

Видят, какой-то солдат по сторонам озирается.

На голове воронка опрокинута, на воронке звезда взошла.

Завидел их — и к ним.

Кум Гаврила — свату, сват Иван — Никите:

— Комиссар, комиссар...

Никита снял лисью, сват Иван кунью, кум Гаврила заячью — шапки.

— Папаша! Дядя Иван! Дядя Гаврила!

— Кузёмка!

Кум Гаврила одернул:

— Какой он вам Кузёмка!.. Вылитый Кузьма Микитыч.

— Как вырос-то Кузьма Микитыч

— Вырастешь!

Поцеловались: раз в перекрестку — раз в однопоцелуйку.

— Что же вы без шапок стоите?

Никита надел лисью, сват Иван — кунью, кум Гаврила — заячью — шапки.

Переминаются.

— Чай, Кузьма Микитыч, вещи пора грузить?

— Какие вещи? Разве за кладью приехали?

— Нет... Мы порожняком... Боялись, твои вещи не поместятся... Звали свояка Терентия, у него Воронко захромал... Копытом ли засек, кузнец ли плохо заковал... Господь те знает... Звали крестника Яшку, — у него дровни без подрезов, боится раскатятся где с горы, вещи поломает... Так-таки на трех подводах и выехали!.. Да мы мигом смахаем и еще раз.

— Вот и все мои вещи.

— Этот мешок-то?

— Да.

— Ну, видно ни до чего ты додемобилизовался... Вон комиссара из волости переводили, так всю деревню на подводы согнали... (шопотком). Может, ты думаешь... Вот те Христос, умрет с нами!

— И чурбаны же вы лесные! Какие могут быть у красноармейца вещи?

Понурились старики.

Серко норовит вместо дороги целиной, Пегашка — хвост трубой — от кнута защита, а кнут то и дело душу отводит:

— Но-о! Одер тя возьми!

---

Кузьма Никитыч яишенку уплетает.

Мать из чулана моргает: то-то, сердешный, поди принял голоду-холоду.

— Кузёмушка, ты блином глазок-то загребай!

На пороге зарницей вспыхнула Варюшка.

— Тетя Анисья, нет ли у тебя мыкальника?

— Ишь ты, мыкальник ей понадобился... Самой, чай, на Кузёмку глянуть не утерпелось!

— Нет, тетя Анисья, взаправду...

— А-а, Варя, здравствуй! Что же не здороваешься?

— Здравствуйте, Кузьма Микитыч!..

И... порх.

А зарницы на пороге все вспыхивают и вспыхивают: Полюшке бёрдо понадобился, Матрешке — веретено, Аниске — гребень...

Вдруг гром:

— Здравия жжлаю!

И Панкратыч костыль на караул.

— Панкратыч, жив?!

Поцеловались.

— Меня, брат, в строю два раза закаливали... Так закалили, что износу не будет! Наша служба была не вашей чета. За пустяк запорют! Одно слово — дисциплина!

— Нащот дисциплины-то обожди... И теперь не спустят... Только тогда с вами обращались, как со скотиной, а теперь, — как с людьми... Вот и вся разница.

И открыли баталию: генерал-майор, полковник, капитан, поручик с начдивом, комбригом, комбатом, комротом...

Да Панкратыча на кривой не объедешь, — он спор ведет по артикулу: «их превосходительство изволили приказать его высокоблагородию, их высокоблагородие его благородию»...

Только когда из резерва двинулся политком, Панкратыч сдал позицию:

— Что же это еще за офицерство?

Пришли сват Иван, кум Гаврила, свояк Терентий, осьмашник Пахом, крестник Яшка, сосед Нефед, а с ними много и прочего народа. В махорочном дыму облик не различишь, только голос личность выдает.

— Отслужился, Кузьма Микитыч, слава богу.

— Один, почесть, за все Пеньки и служил-то.

— Что ж, послужил, зато человеком стал.

— Так, так... Небось, и добра наслужил? Почесть, на каждой станции ни пронесть ни провезть ничего не дадите!

Мать от печки:

— Не скажу, много ли, мало ли... А скажу одно: кое-что привез.

— Теперь бы и обузой обзавестись пора!

Мать от печки:

— Думаем, думаем...

— На кого, тетка Анисья, гадаете?

— На кого? Скрывать не стану. Кого ж, кроме Варюшки кума Гаврила и гадать-то.

— Дай бог в час!.. Девка добрая, и в работе доќа, да и лицом господь не обидел...

Кузьма:

— Да и я не откажусь.

Кум Гаврила:

— А то откажись! Нет, сделай милость, откажись... Да лучше моей Варюшки есть ли еще на свете-то?

Мать от печки:

— А мой-то недоносок али урод какой?

— Что не скажу, то не скажу.

— Не лучше ли по рукам, да сватов зашлем?

— Чего же канителиться-то, я согласен... На самогонку к свадьбе и попу за венчанье хлебушка как ни то наскребем.

— Зачем же попу-то? Разве не в волости регистрируются браки?

— Волость волостью, а без венчанья все же не обойдешься.

— Ну, я в церковь не пойду.

— Не пойдешь?

— Не пойду!

— Так-таки и не пойдешь?

— Так и не пойду!

— Вот оно что! Так и ступай тогда к городским потаскухам... А я свою дочь на позор не отдам... Чтобы мне каждый в глаза тыкал!.. Нет моего согласия!

— Это дело не твое, а невесты.

— Нет, голубчик, шалишь: наши девки пока, благодарение господу богу, от воли родительской не отбились!

Бабушка Фотевна с голбца:

— Чево он, бабоньки, Кузёмка-то бает?

— Вишь, в церковь не хочет итти.

— Не хочи-ит?.. Да это, бабоньки, и не Кузёмка... совсем не Кузёмка... Каково нито турку на войне подменили... Слышь, говорили: у кого убьют, так тому турку плененого выдадут: хошь в мужья, хошь в сыновья. Не-ет, это не Кузёмка... А может, и оборотень... Коли Кузёмка, а не оборотень, пускай перекрестится.

Мать от печки:

— Ты что, старая колдунья, моево сына порочишь! Глядь-ка, за ухом, как была у махонького бородавка, так и осталась... Что, не Кузёмка?

— Оборотень завсегда лик точный приМает... Пускай перекрестится!

— Перекрестись, Кузёмушка, да харкни ей, старой врунье, в бесстыжие бельмы.

— Нет, мать, не перекрещусь... Не позволю себе попам крестами дурачить!

— Ты, скажи, в бога-то веруешь? — это кум Гаврила.

— Нет!

— Что-о?!

— Что он сказал?

— Уходи, знай, скорей!

Дверь об стену сеней хлясь, хлясь, и в избе: Никита, мать да Кузьма остались.

Отец, как ель в непогодь, нахмурился:

— Ушел бы ты, Кузьма, с глаз долой... Отбился ты от лесу...

Мать:

— Теперь и глаза на люди лучше не кажи, поедом съедят!

Отец:

— Уйди от нас, Кузьма, ради-Христа.

Кузьма:

— Уйду!

Оделся, перекинул через плечо мешок.

— Прощайте!

Мать в голос:

— Кузёму-ушка!

Отец:

— Не скули, мать, не пропадет!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Хлюпают кочки под ногой Кузьмы, темные ели чуть потеснились по сторонам просекой. В конце просеки заострился голубой просвет. Дальше — шире просвет, тверже земля. За опушкой раскатилось зеленью поле и расплылась по сторонам голубизна.

Кузьма встряхнулся, — стряхнул с себя еловую тяжесть, перекинул с плеча на плечо котомку и, не оглядываясь на лес, зашагал по полям.

---

# МАРИНКА-ИСКУСНИЦА

МАРИНКА ДО ВСЯКОГО рукоделия большая дотошница: узорец ли где какой увидит, — сейчас и переняла, хоть вышивкой, хоть кружевом в момент изобразит.

По науке первачом идет, — учительш Дарья Степановна хвалит, не нахвалится. Кончила с похвальным: дали такой большущий-пребольшущий лист, на нем — по краям все портреты и портреты разных именитых лиц, а посредине золотом пропечатано: награждается за благонравие и успехи... так и пропечатано. Какова! Вся-то с пузырь — и уже отличие от прочих имеет.

Мать души в ней не чает: «уж такая-то у меня Мариша умница-разумница»... У колодца ли, в церковь ли идучи, только с бабами и разговору: «моя-то Мариша такое замысловатое кружево заплела, все с перевивочкой да с перекруточкой. Уж больно гожо».

— За смирение твое, Секлетинья, господь наградил... Я, вот своей-то бесперечь долблю: сходи ты к Маринке да поучись рукодельничанью... Словно и не ей говорю, знай ржет. Вся и забота одна, что на беседе с парнями смешки да хаханьки разводить... Все мать и мать везде: и холь и сряду подавай. Ведь не хочется хуже других на беседу пустить: люди осудят. При наших-то достатках живой в могилу вгонит.

— И вгонят. При теперешней моде все шелки да бархаты подавай, а мы, бывало, гуляли: сошьют тебе ситцевое платьишко, — в нем и на беседу и в церковь, да и под венец-то в нем же станешь.

— Что верно, то верно, никакой сноровки нет. Купила это я, родима моя, своей-то калоши... Кажись, еще Заволипье не горело... али сгорело. Дай бог памяти, ах, припомнила, родима, коли кузнец Антипа опился... И уж все калоши испорскала. Шла с девками с гулянья из Романцова, и прихватил, родима моя, дождь... Уж такой дождь!.. Девки, кои пожуклистее, калоши с башмаками в руках несут, а моя-то прет и прет в калошах... Я ей после всю башку размолотила. Что ей башка, башка не покупная, а на калоши загонишь копеечку.

— Моя Мариша до гуляньев не охотница, все дома и дома.

— Чай, выйти не в чем?

— Чего ты больно гордыбачишься? Хуже твоей, что ли.

— Нешто моя твоей чета!

И пошли и пошли, — на всю дорогу до церкви хватило.

Всякому своя сопля солона.

---

Хоть и любима дочка Маринка, да доходы-приходы у тетки Секлетиньи не ахти какие: много ли поденщиной в мошну загонишь — сущие гроши. Добытчиков на стороне у ней нет, — не надейся, что к рождеству или к пасхе повестку на деньги с почты принесут, — сама как знаешь изворачивайся. Своего-то урожайного хлебушка еле-еле до рождества дотянет, а ну-ка, посиди на покупном. Впроголодь и то концы

с концами не сведешь. А тут еще, как на грех, неурожайный год подошел, и стало тетке Секлетинье больше невмоготу.

И порешила она Маринку на сторону в ученье к скорняку Трофиму Петровичу сбыть, — хоть один рот с хлебов долой.

Сердце материнское на части разрывается: «девчонка неразумная, а в городе-то, бают, чисто кобели, только чистоту девичью где бы погубить и разнюхивают»... Забалуется без матери. И рада бы под крылышком материнским век держать, да, ведь, когда тонешь, не разбираешь, холодна ли вода.

Реву-то, реву-то что было при росстани, думается, не воспринимай земля слезы материнские, — быть бы еще раз потопу!

---

Закрылись оченьки у тетки Секлетиньи на доченьку, почесть, без малого на пять годов. Только и радости, когда весточку получит: «живет, слава богу, скорняжит... По маменьке больно скучает, так бы и прилетела сизым голубком с маменькой поворковать»...

Время идет, — вода течет. Старый стареет, молодой растет, придет и день свиданья: — не за горами, бог даст, свидятся.

Мать на седьмом небе: Маринка рублишко при случае прислала.

— Мариша-то у меня добытчицей стала!

Дождалась-таки тетка Секлетинья, когда Маринка и путной скорняжницей на жалованье стала... Теперь бы только сряду положить: жених на примете есть, — Павлушка Жупенков, парнишка больно подходящ бы был: спьяна горла не дерет и по мастерству не без рук.

Его мать не раз наведывалась: «скоро ли дочка прибудет? Жди сватов, стороной не объедем».

Уголь из печки не раз выскакивал, а Маринка все не едет, вишь, по ученой части пустилась, отписывает: «вечерами после работы на курсы ходит» . . .

— Ой, не ладное доченька затеяла: наука к добру не приведет... вон, барышня-то из поместья училась, училась да и заучилась: нырнула в Волгу.

. . . Вы, мамаша, — письмит Маринка, — человек серый, об науке понятия не имеете . . .

Тетка Секлетинья с письмом, почесть, пару валенок избила, по деревне бегаючи.

— Моя-то, Мариша — ученой стала.

Земляки у Маринки побывничали, после в деревне сказывали:

— Совсем от деревни отбилась, иной раз такое слово заковыристое выпалит, — не поймешь: не то хвалит, не то хаит.

---

Из городов нелегкая понесла люд по деревням. Иной уже забыл и деревня где стоит, да теперь голод заставил припомнить.

В деревне пришлый люд — голь безземельная, — миру обуза.

Прикатила и Маринка: башмаки с пуговками, каблуки—шило, в шляпке, а на шляпке петушиный хвост. С подругами чтобы гордыбачилась, нельзя попрекнуть: сразу на беседу — с подругами и шу-шу в уголке. Да и в поле от людей не отстает, а деревня только это и жалует, — там белоручки не в чести.

На задворках только и послышишь:

— Моя-то Мариша, словно куколка расписная.

— Носится со своей Маришей, словно курица с яйцом. Чем же пригожее наших девок, — лицом, что ли, взяла?

А Павлуха бахвалится:

— Дай срок посватать, я ей всю Москву из башки выбью.

После крещения сваты закрестили.

Охомутился Павлуша в белую душу, голову припомадил, надел лисяк. Перед путем-дорогой присели, земно помолились; запрягли савраску в возок расписной, да со сватьями, кумовьями к тетке Секлетинье и заскрипели.

— Тпру! Принимай купцов, за товаром приехали!

А девки не зевают: к саням веник привязали, — заметай дорогу женихам, — в неволе бабьей наживемся еще... а сердечко екает: что как вековухой век вековать останешься?!

В колокола не звонили, а слух прошел: Павлуха шесть получил.

Вышла Павлухина мать на задворки животине корму задать, Афимья-говоруха тут как тут:

— Слыхать, не вышло дело-то?

— Что ты, родная, какое дело?

— Да с Маринкой-то.

— А-а. Да, родная, было погубили и погубили парня совсем... Невеста такие слова выпалила, не токмо што девке, и бабе сказать бы зазорно. Говорит: «корову, что ли, к мирскому быку берете... Чай, любовь нужна... Кого полюблю, и без вас с тем сосватаюсь». Так, говорю, без венца и обряда христианского и пойдешь за того? А Маринка мне: «не венец— цепи на вас надели, всю жизнь грызетесь, а разойтись не можете». А что же, говорю, ребят незаконных раз-

водить станешь? Она: «раз человек рожден, кем бы он ни был рожден — законен». Ну, говорю своему олуху-то: одевайсь, Павлух, нечего нам здесь делать. Спасибо, сваханька, на угощенье. Не ожидали, не ожидали от дочки такой прыти.

— Ай-ай, неужто так и сказала?

— Не сойти мне с этого места, коли вру...

— Побегу скорей с Василисушкой покалякать... То-то разговору будет.

---

Юркой мышкой из дому в дом, серым зайком из деревни в деревню побежала про Маринку славушка худая. Матери дочерям наказывают:

— Мотри у меня, если только будешь со шлюхой дружиться, я те семь шкур спущу!

А девки к Маринке, словно мухи к меду льнут: той косу по-городскому завей, другой писульку к миленышу со словами полюбовными напиши. Маринка так напишет, — будь чье сердце лед — растает.

---

Надумала Маринка в деревне городские порядки заводить. Собрала девок, парней и ну их разным действам учить. Кою вырядит старой-престарой старухой, чтобы не только облик старушечий, но и повадка старушечья была.

На масленой в сборной избе стали «комедь ломать»: изобразили избушку без задней стенки, дескать, глядите, что там делается. А там, словно и взаправду, жизнь идет: разговаривают, друг с дружкой из-за пустяков грызутся... Смотришь, так и хочется сказать:

— Какого же рожна вам не живется!

Если со стороны посмотреть, небось, и наша жизнь такой же кривобокой покажется, может, давно уж, как

сапог стоптанный, искобенилась, самому-то все равно, что затылок, только в зеркале и увидишь.

Народу, что зерен в огурце натыкалось. Иная старуха издалече с клюкой приплелась: «умрешь и киятра не узнаешь».

Только и слышно:

— Вот так ловко!

Палашка Маврина такой дурехой выведена, — увидала мать, так и ахнула:

— Уходи, стерва, домой, чего ты людей слушишь! Какой жених к такой разине завернет!

Мужики раскатываются:

— Хо-хо-хо! Ай да Маринка, вот искусница-то!

Тетка Секлетинья:

— Моя-то Мариша киятры разыгрывает!

Бабы шипят:

— Потаскуха твоя Маришка, вот что. И наших девок всех испортит!

---

# КОММУНИСТ

ГОВОРЯТ: СОЛНЫШКО светит всем.

Всем-то всем, да не всем одинаково: кому в бороду, кому и в спину.

Выйди в летнюю страду в поле,— море солнышка. Окинь вокруг взглядом: видишь, в желтых волнах спелой ржи ныряют спины жнецов, — для них не лучи — иглы еловые в спину впиваются. А вон вышел Пров Сергеевич глянуть на работу, — лучи к нему, как малые ребята под ноги кинулись и по животу таково-то ласково поглаживают.

А все потому, что доброе сердце у Пров Сергеевича, — не сердце — мед, сотами благоухающий.

Скажем, случись с кем в деревне грех-беда: скотина ли копытцами кверху скопытится, красный ли петух по стройке крыльями захлопает, ведь, все под богом ходим. Господь-то, батюшка, к тебе в мошну не заглянет: пучит ли ее, животики ли у ней подвело, а пошлет тебе испытание, — изворачивайся сам, как знаешь.

К кому с нуждой сунешься? Не у всякого деньга вольная ведется; если у кого и завелась, так норовит от судов-пересудов людских запрятать в тараканью щель.

К кому же, как не к Пров Сергеевичу о пол лбом стукнуться.

— Пров Сергеич, яви божескую милость, выручи!

Другой на его месте вдосталь наломался бы.

Какой человек не любит над другими при нужде покуражиться.

А Пров Сергеевич этак ласково:

— Лошадку, говоришь, облюбовал. Что ж, дело доброе, обзаводись, дай бог в час... Только, милок, помочь тебе ничем не смогу, лучше на меня и не надейся, сейчас не при деньгах.

Опять жошком пред Пров Сергеевичем.

— Пров Сергеич, отец родной, заставь вечно бога молить!

Пров Сергеевич только вздохнет, — жалостливое сердце у Пров Сергеевича.

— Э-э, что с тобой делать, придется самому за тебя в долги лезть да выручать... Сколько, говоришь, тебе? Пятьдесят? Ладно. Черкани-ка расписочку. Память у меня какая: отдашь, а после неделю искать будешь, не потерял ли где... Пиши: «получил, обязуюсь»... Так, так... А ты цыфирь-то семьдесят становь, на случай, знаешь, придешь другой раз: то чернила высохнут, то бумаги не будет под рукой... И не охоч же я до этих самых записок.

Не верить Пров Сергеевичу? Да у кого только язык сказать повернется, — вырвать с корнем надо.

Только-что поставишь на бумажке изгородку из букв, заплетешь с своей фамилией, не успеешь еще пот с лица от потуги письменной утереть, глядь, уж Пров Сергеевич ключик с пояса снимает, в чуланчике у сундучка запором позвякивает.

Запор звонит, а сердце у тебя трезвонит.

Выносит пук записок.

— Вот.

— Пров Сергеич, мне бы деньжонок?

— Чудак ты, парень... Право, как есть чудак. Гаврила телку продал, Марья за поденщину в поместье получила, Фекла от сына присылку... Это тебе не деньги? Что с меня, что с них получать.

— Так-то оно так... Только...

— Коли не хочешь, не неволю...

И назад в чуланчик.

— Пров Сергеич, Пров Сергеич!

— То-то, не дури, парень.

Придешь с записками к Гавриле, Марье, Фекле — уколов, укоров не оберешься, пока получишь, — не у всех же сердце Пров Сергеевича!

Ну, как тут не пожелать Пров Сергеевичу доброго здоровья, — все желают Пров Сергеевичу доброго здоровья, оттого и здоровьем он так прет: живот — куль осьминный, подзобок в три яруса.

Как говорится, долг платежом красен, а не напоминай Пров Сергеевичу о долге хоть сто годов — не бойся, не прицепится к тебе с сутяжническим крючком. Пров Сергеевич всегда поступает по-божески. Придет сенокос, Пров Сергеевич, будто ненароком, к тебе завернет:

— А что, Иван (или как тебя иначе), тебе лужок-то у Банного болота хорош достался?

— Куда там хорош... почесть один белоус!

— Да нет, не скажи... А не уступишь ли его мне?

— Уж не знаю, как и быть, Пров Сергеич, самому бы охота скосить, сено-то больно в обрез у меня.

— Дело твое... Я, ведь, у тебя не отымаю, избави бог. Я лишь к слову молвил... Э-эх, прощай!

— Да уж, пожалуй, бери, Пров Сергеич.

— Давно бы так. Ты заодно и скоси... Самому-то мне и не управиться.

— Ладно.

— Кто с тобой еще в осьмаке-то?

— Федор.

— Прощай. Пойду с Федором побеседую.

Побеседует с Федором, — глядишь, Федор с Иваном и возят сенцо с лужка в сенник Пров Сергеевича.

В жнитво Пров Сергеевич какого нито мальчонку пошлет по деревне нарядить: Матрене — жать у Черемушного ручья, Арине — на Гусевской, Андреевне — у Жукова овина.

Люди только зажинают, а у Пров Сергеевича зернышко давно в закромах.

У кого же хватит духу отказать доброму человеку!

---

И скоротал бы свой век Пров Сергеевич в почете и уважении; ведь в жизни человеческой «от—до» не верстами — аршинами меряется. Да много в нашей жизни всяких поверток, перепутков, — недалеко осталось Пров Сергеевичу и до привала, да на самом, почесть, конце пути вдруг перекресток.

Поветрие ли какое на людей напало, либо что другое, господь те знает, только стал народ не народ — озорство одно... Сначала в городе пошло, потом и в деревню перекинулось.

По весне понадобилось Пров Сергеевичу картошку семенную из ямы разрыть. Пораскинул в уме: кого бы позвать. Решил Феклу.

Постучал подожком у Феклиной избы, выглянул малец.

— Мать где?

— На задворках, дрова рубит.

Он на задворки: не успел еще в закоулок завернуть, как уже Феклин голос тяп топора перетяпил.

— Бог помочь!

— Спасибо.

— Поздненько ты хворост рубишь, смотри, осина осочилась — росток дает, гореть не будет.

— Сама знаю... да ничего не поделаешь, одна я... Куда ни кинь, все клин выходит...

— А я, Фекла, к тебе... не пойдешь ли ко мне картошку из ямы перебрать?

А Фекла топор в пенек, руки в бока, да что есть мочи:

— Ах ты, баржуй окаянный! Эксплататор эдакий!

И пошла, и пошла, — как есть, все слова выложила, что намедни говорун из города привез.

Пров Сергеевич даже попятился: что с бабой стало? Откуда прыть такая взялась?

— Чего ты разошлась? Не хочешь, не ходи, силом тебя не тянут. Позову Матрену. Ты бы хоть уваженье за долг-то имела, который год пошел, как заняла-то.

— При новом праве всем долгам крышка.

— А бог-то?

— А-а, тебе бог, а для нас нет? Он, батюшка, видит, все видит, сколько годов я тебе за долг работаю, работаю, а долг ни на капельку не убыл.

Длинна верста коломенская — язык Феклы длиннее.

Отошел от греха.

К Матрене.

А Матрена:

— Чево Фекла нейдет?

К Арине.

Арина баба не взбалмошная, степенная.

Так-то и так, мол.

Арина:

— Нашел дуру. Люди нейдут, так думаешь, я дурашливее всех?

Бабы, что овцы: как одна, так и все.

А Фекла на все задворки:

— Не ходите, бабоньки, пускай он с пузом-то сам в яму лезет.

— Ну и народец!

Видно уж так испокон веку ведется: зло за добро.

Так никто и не пошел. Пришлось самому: еле-еле две полосенки засадил. А бывало... да, бывало, в поле что ни шаг — гусиная лапа: метка его полос. А спроси: чей овес на четверть выше? — Пров Сергеевича. Чья картошка раньше зацвела? — Пров Сергеевича... Потому что во-время запахано. Лучше Пров Сергеевича распорядчика не найти, а работать...

Что работать, — Пров Сергеевичу благодетельствовать впору.

Тяжела работа мужичья, а насмешка цепче репейника льнет. Пишет Пров Сергеевич, — пот ливнем, а кругом него на разные голоса: «Пров Сергеич, отвал мал берешь... Чужую борозду припахал».

Пашет Пров Сергеевич, пашет, помалкивает: господь-от и не так терпел.

---

Туго пришлось Пров Сергеевичу, ох как туго: контрибуция контрибуцию так и погоняет. Да и мужики в затылке почесывают: все с мужика да с мужика, а мужику — фигу с маслом. Скажем, расхлябались у тебя колеса, — стан колес стоит, господи твоя воля, — и подумать страшно.

Пров Сергеевич зла не помнит, — у Прова Сергеевича сердце доброе. Соберутся где мужики, — Пров Сергеевич этак потихонечку, полегонечку, но резонно:

— Вот и до слободы дожили... Сами теперь, значит, хозяева стали.

Вздох мужичий — густой вздох.

— Дда-а, слобода.

— Что говорить!.. Слобода-то вó где у нас сидит, — постукает Пров Сергеевич себя по затылку.

— Нечего сказать, дожили!

А Пров Сергеевич:

— То ли, бывало, прежде. Скажем, денег тебе нужно, — идешь ко мне, али к кому другому, — и дадут, не откажут. Хоть иной раз и самому до-зарезу нужны, — даешь, потому знаешь, каково мужику каждая копейка достается... Если поработаешь за одолжение, так, чай, руки свои, не покупные... Правильно я говорю?

— Правильно-то прáвильно, да што прошло, не воротишь.

— А есть, други мои, одна увертка, хорошая увертка.

— Пров Сергеич!..

— Устроить, значит, коммунию... Потому слобода без коммунии — не слобода. Опять же разные льготы там: отборки не будет, да еще, пожалуй, и семян на обсеменение выдадут.

— Пров Сергеич, действуй! А мы тебя вот как благодарить будем. Будешь ты у нас самый наипервейший коммунист.

И стал Пров Сергеевич действовать: человек он бывалый, до всего дошлый, — туда-сюда торнется, — и устроил-таки у нас коммунию, даже от барской усадьбы малость прирезки выхлопотал.

Пров Сергеевич с карандашиком ходит, наряды отмечает: таким-то косить там-то, а таким-то жать там-

то, или по хозяйству куда гусаком переваливается, — все ключи у него, кому ж другому доверить.

А нам где ни работать — работать. В коммунии работать скопом, оно, пожалуй, веселее: где девку щипнешь, где молодухе подмигнешь, за смехом да хахаканьем и не приметишь, как солнышко закатилось.

Все бы хорошо шло, все бы хорошо, кабы не бабы. Вот уж на погибель рода человеческого созданы, истинно на погибель! .. Особенно Фекла.

Собрались бабы и говорят:

— Да что же это за порядки такие... прежде мы на пузатого работали и теперь на него работаем. Мы и без его распорядков знаем, что делать.

Поди с ними потолкуй. Мы им толком: он, мол, самый главный коммунист, а они знай свое:

— Не пойдем без пузатого работать, и вся недолгá.

Услыхал Пров Сергеевич, — в обиду:

— Выхожу из коммунии!

Мы:

— Пров Сергеич, Пров Сергеич! У баб волос долог...

— Никаких.

---

А и хорошо же бывало в пору страдную сороковочку пополам с кем раздавить. Выпьешь... Ффа,— так огоньком по жилочкам и бежит, такую силу-бодрость в тебя вливает. Э-эх, времена!

Спасибо Пров Сергеевичу: и тут выручил. Где он, как он пронюхал секрет винный, — бог весть, только самогон Пров Сергеевича не уступит и николаевской. Снесешь за четвертушку пудовичок ржицы — и услаждай душу в свое удовольствие.

Опять бабы все дело испортили. Тьфу!

И тут нос суют:

— Награбил хлеба в коммунии, а теперь спаивает вас, дураков!

Молчим: чорта хоть молитвой проймешь, а бабу ничем.

Погубили-таки бабы ни за что, ни про что человека: донесли. Увезли Пров Сергеевича в острог.

Так и пропал человек за доброту свою сердечную.

---

## I

АНИСЬЯ СЫЗМАЛЬСТВА по господам в прислугах живет.

Она хорошо даже очень понимает, что комнаты—господам, а прислуге — кухня!

Удивляется Анисья: и для чего господа в комнатах столько разных вещей нагородят—ни пройти, ни повернуться нельзя, сейчас за стул или иную какую вещь заденешь.

Да и вещи-то все такие хрупкие.

Пыталась она раз какого-то ангелочка с крылышками и стрелой в ручках посмотреть, только в руки взяла, а у него крылышко и крак.

Барыня как набросилась, чисто взбеленилась.

— Ты, — говорит, — своей лапой у меня саксонский фарфор разбила.

Уж пилила, пилила — диви бы за дело, а то, тьфу! .. из самой пустяшной штучки . . . На вербном базаре куда цветистее-красивее по двугривенному продают.

— Эх, все жадность господская!

С той поры Анисью в комнаты заглянуть, — давай хоть горы золотые, — не заманишь.

В кухне она дома и дома: у стены койка с пестроцветным одеялом, под койкой — сундучок с добром,

в углу — родительское благословение: матушка-троеручица.

Вечером перемоет, уберет посуду, затеплит лампадочку и родителей помянет. Днем не до себя, — раскраснеется, что медный самовар, да слушает говор кастрюль на плите, а они говорят: «смотри, Анисьюшка, чтоб не подопрело, не пригорело, не пересолело» . . .

А тут еще Наташа горничная прилетит.

— Барыня обед скорее приказывает.

— Ладно, в свое время будет.

Не любит она, прости господи, этих вертихвосток: им бы только в комнатах господам наушничать, а в кухне и рыло корытцем.

— Какая у тебя ужасная жара здесь!

И опять хвостом фью-фью — упорхнула. Нет бы толком поговорить, — рассказала бы, что господа говорят.

Барыня в кухню заглядывает редко, если и зайдет — радости мало.

— Почему, Анисья, к соусу не подала то-то и то-то? . . .

Это еще так и быть, а то:

— Сегодня у тебя, Анисья, жаркое невкусно!

Анисья руками разведет и в передник слезами зальется.

— Да как же, барыня, я . . . я . . .

Обидно. Она ль не старается, она ль не служит, да у ней только и думушка одна — как бы господам угодить . . . и все служба не в службу . . .

Так и скоротала бы Анисья свой век у плиты — ни себе, ни людям на пользу, да случись с ней такая оказия.

## II

Как-то корпела она у плиты, слышит — за окном шум, гам, словно вода в коробке бурлит.

Она к окну: на улице народищу — видимо-невидимо, — все равно, что вермишель в супу. Над головами флаги краснотой полыхают, от пенья стекла дребезжат. Прислушалась:

... твоим потом жиреют обжоры,
последний кусок они рвут...

— Что-й-то за праздник?.. — недоумевает Анисья, — да и песня-то такая, что ни в деревне, ни в городе не слыхивала.

В кухню запыхалась Паша из восьмого номера.

— Анисьюшка, революция!..

Анисья — за сундучок.

— Батюшки, нешто опять жидов бить станут?

Паша хохотать.

— Чево ты раскатилась... ступай и сама добро прибирай скорей. Вон когда погром был... у меня блузку ненадеванную стянули... так-таки стянули!..

Паша за животики.

— Дура ты, дура, небось революция супротив господ.

Анисьюшка опешила, — на сундучок присела.

— То-ис? Как же господ колошматить станут?

— Не колошматить, а чтоб...

— Вы чего на улицу не идете... разве не слыхали, всем на улицу! — буркнула в кухню Фрося инженерова.

— И то... пойдемте... — позвала Паша.

Анисья и руками замахала.

— Без спросу? Да барыня меня поедом съест.

— Все бы тебе барыня, барыня.

— Нешто только на минутку до ворот, взглянуть и назад.

Вышла Анисья к воротам.

На улице праздник: на кого ни глянет, — будто и лица нет — один улыбающийся рот.

Долго Анисье разглядывать не приходится: вдруг, спаси бог, барыня в кухню позвонит. И застучала по двору калбуками — опять на кухню: этак-то спокойнее, а там и без нас дело обойдется.

Барыня зашла в кухню и таково-то ласково:

— Ты, Анисья, теперь свободной гражданкой стала.

— Что вы, барыня, так и свободной...

— Да, Анисья, наконец-то порвались рабские цепи и осуществились мечты передовой интеллигенции: свободы, равенства, братства.

— Так, так, барыня ... так...

III

Дни пошли какие-то несуразные: поставит Анисья печенье в духовку, — тут глаз да глаз нужен: захватить, когда корка зарумянится,—чуть проворонишь,— корка и почернела. А тут на общее собрание прислуг в доме кличут, — бросай все и беги.

Слушает Анисья на собраньи — слушает, головой покачивает: речи-то все супротив господ, да такие речи... не дай бог господам услышать — не миновать всем расчету.

Слушает и не заметит, как задремлет, пока не растолкают подписаться под резолюцией:

...чтобы — барыня называла: «вы»...

...чтобы — прислуге пользоваться гостиной...

...чтобы — прислуге ходить парадным ходом...

...чтобы — прислуге кушать с господами...

...чтобы — барыня помогала прислуге в кухне...

Моргает она глазами — не то спит, не то бодрствует: слыханное ли дело, чтобы прислуга вместе с господами была.

— Так-таки с господами?

— Ну да, с господами... Что же мы не люди, что ли...

— Как же? Они господа!

Покачала, покачала Анисья головой и поставила по безграмотству крестик.

Дали и ей бумажку: передай, мол, барыне.

— Что ж, можно.

Не шла, а летела Анисья на кухню, скорей в духовку. Инда руки, ноги затряслись: вместо печенья — одни угольки.

В обед сама барыня прибежала на кухню.

— Ты что же, Анисья, своего дела не знаешь... По собраньям таскаешься... Меня перед гостями в неловкое положение ставишь...

— Да я, барыня... А это на собранье бумажку дали вам передать.

— Что такое?.. Гм!.. Да ты в уме, Анисья, предъявлять подобные требования?

— Я, барыня, ничего не требую...

— Как не требуешь?.. Это что? Неужели ты сядешь в гостиной?.. Ха-ха-ха!.. Представляю, каким ты чучелом выглядела бы... А это уж верх наглости... чтобы барыня на кухне прислуге помогала! Уничтожить классовые различия — фантазия большевиков!.. Разделение труда всегда было и будет... Значит, будут прислуги и... господа... Впрочем, что с тобой гово-

рить, — все равно ничего не поймешь... Если не... э-э... можешь получить расчет.

— Э-эх, барыня, сколько годов у вас жила... Другие-то прислуги... а я, скажи, грошем медным не попользовалась... Грех вам, барыня, будет, грех, гре-ех!..

— Хорошо, оставайся... только чтобы впредь больше глупостей не было... Понимаешь?!..

## IV

Дело из рук вон, — Анисье горе большое: жарить приходится заместо масла на рыбьем жиру, а о разной там приправе говорить не приходится.

А до революции — в любой лавке: хочешь корицы, хочешь гвоздики, хочешь лаврового листа, — что твоей душеньке угодно.

Вот и приготовь теперь вкусно, угоди господам.

Уж если так, — бог с ней и с революцией-то этой самой.

Барыня говорит: все большевики ногу революции подставляют, это они хотят весь народ оголодить, чтобы в коммуну закабалить.

Такое зло у Анисьюшки на большевиков, такое зло.

— Попадись где большевик на глаза, я бы его шумовкой... шумовкой по бесстыжим бельмам... Пра, не стерпела бы!..

## V

Господа не вытерпели — с большевиками схватились: целый день-денской только гул от пальбы идет.

Кастрюли на плите так и ёрзают.

На улицу — нос не кажи, — враз под пулю угодишь. Пробавляются припасами.

В парадном иногда слышится звонок, — заходит разведка юнкеров: ищут большевиков.

Барыня улыбается, делает глазки. Юнкера — под козырек.

— Мы уверены, что у вас засады не может быть!

— Будьте покойны...

Извиняются за беспокойство и уходят.

Некоторые из них, — знакомые, — прикладываются к ручке, просят разрешения закурить.

Тех просят в гостиную.

Разговаривают про большевиков. Анисья слышит, дело большевиков совсем пропащее... скоро от этой заразы очистят революцию, если в бою кого не уложат, — после пристрелят.

## VI

Однажды, с Анисьей такой грех случился: топила плиту, а воду в коробку и забыла налить — ну, просто из ума вон.

Господа отужинали, надо бы посуду мыть — воды теплой нет, оставить до другого дня — барыня непорядки не любит.

Волей-неволей пришлось еще раз топить плиту. Досадно Анисьюшке, — на ком же досаду, как не на дровах, сорвать: так порскает поленьями в топку, — инда звон от плиты идет.

А дрова словно на зло — не горят.

Вдруг чует она, будто с черной лестницы воздухом пахнуло. Подняла голову — так и обомлела: в кухню вошли трое солдат и на рот рукой показывают: молчать, значит.

Куда — кричать, — со страху и голос пропал: большевики.

— Ты не бойся, мы на минутку и опять уйдем... Товарищ Лазарев, наблюдай за ней, шуму не наделала бы, — сказал один.

— Слушаю.

Двое сели к столу и на бумажке что-то карандашиком зачиркали, а третий подсел к ней у плиты.

От стола в шопоте Анисьюшка различает:

— ... Я уверяю вас, товарищ Гончаров, юнкера непременно попытаются прорваться у Никитских ворот... Необходимо в указанных мною пунктах выставить заставы...

— Все это хорошо, но... где мы возьмем столько товарищей... уже резерв пущен в дело... Дозоры высланы?.. Посты расставлены?..

— Все исполнено.

— Что, тетка, испугалась?

— Напугаешься, коли вошли, как грабители какие... Как же это я опростоволосилась, дверь не заперла... Увидит барыня — заест...

— Ничего, пожалуй, скоро подавится... Ты какой губернии?

— Мы-то, калуцкие... Жиздринского уезда.

— Вот как? Землячка!.. Какой деревни-то?

— Моргачи.

— Моргачи-и? А я из Пяткина... В Моргачах хороводы не раз важивал.

— Ты, небось, про Афанасья Морковина слыхал... он мой брат... как живет-то?

— Как не знать Афанасья Морковина... Беднее его во всей волости не сыщешь... И парень старатель. Бьется, как рыба об лед, и все незадача... Одна наша беда — земли у нас мало: куда ни кинь — все господ-

ская и господская... Вот с господами и войну из-за земли затеяли...

— Вот оно што... Барыня сказывала, будто народ оголодить хотите?

— Ты слушай барыню... она свою линию гнет... Их вот, верно, хотим малость поприжать, чтобы не так вкусно ели и работали бы...

На черной лестнице затопали, в парадном вскрикнул звонок.

У стола вскочили:

— Товарищи, защищаться...

В момент — крючок на черную дверь, поворот ключа у двери в коридор.

— Тетка, стань в угол!.. Сейчас стрельба будет... Не зацепили бы...

В парадном:

— Мы извиняемся, сударыня, но... мы имеем точные сведения, что в вашей квартире скрылись большевики.

— У меня большевики? Уверяю вас, что это неправда.

— Мы вполне верим вам, только... все-таки разрешите осмотреть квартиру?

Недовольный голос барыни:

— Пожалуйста... пожалуйста...

Стук ружьями в дверь кухни и голоса:

— Отворяйте!.. Стрелять будем!..

Испуганный голос барыни:

— Ради бога, не стреляйте... детей испугаете... Там одна прислуга спит... Анисья, отопри!..

— Хорошо, хорошо, сударыня... Мы их, как кроликов, за уши вытащим... (Смех). Юнкер Заболотный, нажмите плечом на дверь.

Дверь хряснула.

— Товарищ Лазарев, скорее к окну... к окну!..

— Не могу, товарищ Гончаров, дверь еле держится...

Клокочет вода в коробке, шипит плита. В окне чмокнула задвижка.

Анисья сама не знает как, — уж больно к сердцу подкатило, — нацедила ковшик кипятку и в окно — плеск.

Мягкий, словно тесто, шлепок тела о мостовую, острый крик и тупая ругань.

— Ай да землячка, поливай их!..

Плеснула еще ковшик и еще... и еще...

— Господа, что на них смотреть, стреляй в окно!..

Врассыпную брызнули выстрелы. Град штукатурки с потолка. Три пули из окна, — без счета в окно.

Но что это: выстрелы заглушались выстрелами, барабанная дробь убегающих ног. Двери без напора. За дверью знакомые голоса:

— Отпирайте... свои.

Отворили.

— Ба, товарищ Гончаров!.. Это вас юнкера штурмовали?..

— Да, товарищи, и не будь у нас артиллерии, вряд ли выдержали бы.

— Где же ваша артиллерия?

— А вот артиллерист — с ковшом стоит... Как она их кипятком!..

— Ха-ха-ха!..

Анисья — лицо в передник.

— Насмешники вы...

— Спасибо тебе, товарищ Анисья, помогла революции...

— Ну да, помогла...

Совестно Анисье, вот как совестно, а товарищи руку жмут.

— Спасибо! ..

— Мы можем порадовать вас, товарищ Гончаров, — юнкера у Никитских ворот разбиты ...

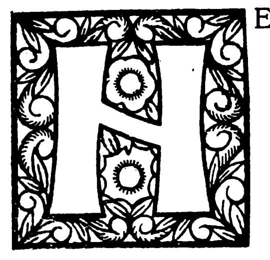
— Да неужели? Ура-а! ..

---

# ЖЕНА

> ... Не потка в потках — нетопырь, не зверь в зверях — еж, не рыба в рыбах — рак, не скот в скотах — коза... не муж в мужах, — который жены слушает...
>
> Данил Заточник.

## I


Е ВЕТЕР ВИХРЕМ крутится, и не гром гремит по поднебесью, — дядя Никон с батожком в руках за женой вихрем носится, рычит:

— Разорву, стерву! Костки прахом по ветру развею!

Словно пигалица тоскливая, жена причитает:

— Измызгал жисть мою неприглядную... От тебя на щеках заря девичья потухла.

— Разражу!

От повадки его ястребиной метнулась: из избы в сени, из сеней на улицу, да в калитку к тетке Дарье — нырк. Калитка щеколдой — курлык.

— Понюхай-ка, чем двери пахнут!

— Эй, отвори, коли по добру по здорову, или дверцу батожком выкорчу да твоей косой улицу до избы повымету!

Не дверь от ветру петлями ржавыми заскрипела, — заскрипела тетка Дарья:

— Полно, старый греховодник, — чай, помирать будешь... Молодуху-то совсем заклевал... Тебе ли она чета, — по годам в дочери годится.

— Ужо тебе, сводня старая, бока-ребры дряхлые перещупаю. Сколь зубов во рту осталось, перещитаю!..

— Пойдем, молодка, в избу: что его, охальника, слушать... Ни куда денется: бесится-перебесится — и опять же за твоим подолом червем изовьется. Приласкаешь — и мир вам. Такова уж порода мужицкая,— все они кобели...

## II

Так уж господом богом положено: для повадки разговору жить всякой твари парами, — гусиха с гусаком погогакивает, свинья с боровом похрюкивает, на что мала птица — воробей, и тот с воробьихой почирикивает... только дядя Никон на печи лежит один, да покряхтывает:

— Велико кушанье — баба... Придешь, стерва, не минуешь дороги необходные... Ведь не вокруг ракитова куста, а золотым венцом у аналоя скрещены...

Чу!.. Боязливо кто-то стукнул... В груди у него голубь трепыхнулся...

— А-а, стерва, пришла... нет, обнимись-ка с морозом да горючей слезой снег растопи...

Шмелем по избе храп загудел.

Еще стучек... Кто-то жалобно пискнул, словно душа при росстани с телом заплакала...

— Брысь!.. Брысь!.. Эк тебя на столе повадило мышей жрать.

И опять к нему в душу выпал снег.

Крутится, переваливается с боку на бок, будто на каменье-дресве он лежит.

А квашня стоит на загнетке да, словно брюхо после гороха, — шипит.

Глянул. Батюшки!.. Тесто из квашни на печь греться вылезает.

— Ах, чтоб тебе!..

Третий петух ночь оборвал, пастух коровью музыку завел, буренка по подойнику заскучала.

Дядя Никон с подойником за буренкой, словно парень за девкой кочевряжистой ухаживает. Она хвост трубой, по двору вскачь, — не замай.

— Буренка... буренушка... Тпруко... тпруко...

А буренка мычит:

— Не му-ужичье дело.

Стяжком по хребту.

— Одер тя возьми!.. Пшла...

Мишка-бык приходил — взревел: у-у, чучело двуногое, вот как возьму тебя, да подыму за буренку на острые рога...

## III

Такова порода человеческая. Лучше хлебом не корми, только дай в чьей душе пятаком покопаться, да о чью-либо жизнь почесаться, — посудачить.

Ведь с кем грех да беда не бывает: живешь — все равно, что по льду идешь: смотришь—гладко, а вдруг— трах башкой, инда очекуреешь. Подымешься — в затылке поскребешь-поскребешь и опять побрел.

Повстречается с кем дядя Никон, — лучше бы и не встречался: у того глаза месяцем на ущербе скосятся, и облачком на губах улыбка проплывет:

— Не пришла баба-то?.. Эх, ты, еще мужиком называешься... Случись со мной, думается, я бы места живого не оставил... пра, не оставил.

Сыплет дядя Никон в ответ слова крепкие, — крепче корешка махорочного.

Доконали, хоть и на свете не живи: «диви бы из-за путного чего, а то, тьфу!.. из-за бабы»...

А сила в бабу великая заложена. Вон в писании сказано: похерит иной угодник божий все земное, а нет-нет, — да «жена в образе назе» и предстанет перед ним... То бес!..

Нет, великая сила в бабу заложена...

## IV

В лесу, где сердитый бор, как море в непогодь, ворчит, где стыдливая березка из-под зеленых кудрей взором ласкает, где сплетница осина не знамо что лопочет, где кряж-сосна лысину опростоволосила, там, за елями хмурыми, серым зайкой полянка укрылась.

На полянке гриб — не гриб, куст — не куст: то избушка, что на курьих ножках притулилась, а в избушке той живет баба Потылиха.

Коль сердце у тебя в огне, а другое — лед, иди к бабе Потылихе: приворожит, присушит или корешек приворотный даст. Коль ворог лютый — притку-порчу напустил, — иди к бабе Потылихе: пошепчет, заговорит, как рукой снимет.

Дядя Никон, что серый волк в пору осеннюю, по задороге, меж кустов крадется: путь к Потылихе держит.

Вдруг поджилки, словно былинка в поле под ветром, задрожали: на приступке сидит сама баба Потылиха, да, знать, с чертями, как с родными братьями, переговаривается: бу-бу-бу.

— Бабка, здорово!

— Живешь здоровым, добрый молодец, ходишь веселым, красным девкам желанным. Нуждой ли занесло, леший ли путь-дорогу перебил, во хмелю ли заплутал?

— Докука, бабка, до тебя.

— Аль кила в пору страдную ноет, или лихой человек кубышку доглядел?

— По делу по любовному я...

— Гляжу и диву даюся... на голову твою, молодец, выпал снег и в лысину оледенился — нешто сердца пыл не охладил... Подснежники-цветочки под солнышком цветут, на девичьих щеках алеют маки под взором молодым.

— Мне до жены...

— Коль ослабли у коня удила — вожжами не сдержать.

— Вызволи, бабка... Уж как тряхну для тебя мошной, не поскуплюсь: награжу рублями чиста-серебра, да рублями-то всех трех царей — орлистыми.

— Ин, быть, помогу твоему горю... Встань, молодец, ликом на всход, хребтом на заход... Имечко-то крещеное твоей ласочки молвь.

— Ненила...

Зачуфыркала, закликала баба Потылиха чертей сподручных, самого-то беса полюбовного Солчака тревожила:

— ... «Стану я, раб божий, не благословясь, пойду не перекрестясь, из избы дверьми, из дверей — воротами, из ворот — заворами, через чисто поле в леса дремучие, к тому ли болоту топкому, поклонюсь-взмолюсь не церкви божьей, не кресту православному, а тем ли бесам, трем родным братьям: бесу — Солчаку, бесу — Курылю, бесу — Мурылю».

Чует он, как бесы по спине когтями гладят, от страха язык его в словах заблудился, а Потылиха все сыплет слова вещие:

— ... «Напустите на рабу божию Ненилу тоску тоскучую, сухоту-сухотучую, в ее тело белое, в ретивое сердце, в горячую кровь, в хоть и плоть, чтоб не могла красная молодица без меня, раба божия Никона, ни дня дневать, ни часа часовать» ...

Осиновым листом трясется дядя Никон: ведь, чорт-то не свой брат.

## V

Воронко головой мотает, — бубенцы звоном по полю рассыпаются, Воронко глазом косит, — расписной дугой бахвалится.

Теща-матушка, ставь-ка на печь опару да пеки горячие блины... чуешь ли, едет зять-батюшка, — рубаха кумачевая, штаны плисовые, и нога на отлете смазным сапогом солнышко дразнит... едет он не с пустом, подарочек везет: не ал-плат и не куб-сарафан, а... ременный кнут сыромятный.

К околице подъехал, ворота настежь, по улице едет, народ к окошкам кидается: «ба, Мозочихин зять катит» ...

— Тпру! ..

Теща-матушка, бери-ка хлеб-соль, встречай гостя нечаянного, а ты, провинница жена, ползи собакой ласковой да целуй пылен сапог.

Засучил дядя Никон рукава, кнутиком пощелкивает, — вот-то душу отведет.

Для чего ж, как не для куражу, баба создана: душу ли твою кто обидой оцарапал, сердце ли тоской через край переполнилось, хмельная ли отвага в тебе,

что вода на огне, бурлит, — дашь волю рукам и остынет.

Ходит-походит он вокруг да около Мозочихиной избушки: калитка губы поджала, оконницы не улыбаются.

Закипела кровь, заиграла удаль-отвага молодецкая, взвыли оконницы — зазвенели...

— Крау!.. Крау!.

Люд на улицу выскочил: «Мозочихин зять буянит, жену требует».

## VI

Дедушка Луп любит чужое горе-беду на бобах развести.

У дедушки Лупа слова мудрого про всякого — короб непочатый. Поговорит, разговорит, поахает, повздыхает, руками разведет, — глядишь, и беда твоя яйца выеденного не стоит.

Дедушка Луп на задворках с топориком у телеги гоношится, — колесо чинит.

— Помогай бог!

— Спасибо, Никон. Далече ли?

— Да вот до твоей милости, за советом... как говорится, ум хорош, а два дальнее будет.

Дедушка Луп ткнул топорик в пенек.

— Так, так... Сказывай, что у тебя за дело?

— Вишь ты, дело мое такое, что и говорить совестно... Да уж так закрутило, так закрутило, от одного сраму хоть в петлю лезь... Из волостного квиток прислали, на суд зовут, жена развод требует...

— Э-э, вона что! А как тогда советовал, как заказывал: не бери Никон Ненилу. Женишься — намаешься... Помнишь, чай?.. Взял бы какую ни то

вдову: вдова терпкий человек, и жили бы за милую душу. Зато своим умом жить захотел... Слушайся Лупа, у Лупа — ума палата.

— Что говорить, попутал враг... Не воротишь...

— Развестись, говоришь, хочет? Как это можно — развестись, коли господь у аналоя венцом соединил, и не человечьему разуму разъединить. Плохо ли, хорошо ли — ау, терпи.

— Я тоже так мерекаю...

— Ты мотри, если улещивать будут, не поддавайся... мол, требую свою жену, и вся недолга... Задержать не посмеют... По закону требуешь...

— Спасибо на добром слове.

— Ступай с богом... Мотри не поддавайся.

## VII

Была у стариков в волостном правда божеская: кто прав, кто виноват — господь их ведает. Кто моложе — тому и жошком пред старым раскинуться: прости Христа ради. Теперь у молодых пошла правда советская ни седине, ни лысине уваженья нет.

Э-эх, вспомнишь времечко старое!

Вошел дядя Никон в волостной суд — избу прокуренную. Он крест кладет по-старинному, поклон отвешивает по обычаю: прямо — судьям, направо — свидетелям, а на левом остановился — глядь, Ненила там.

— Не стыдно бесстыжими-то бельмами мужа на судах страмить.

Ненила — тю-тю-тю.

— Вот подожди, ужо присудят... не миновать тебе за косу к телеге привязанной быть...

Ненила — чуфырк.

Заклокотало в ретивом, пальцы жамкнулись в кулак, — пота бы Ненилу и видели, кабы от судейского стола не послышалось:

— Дело гражданки Ненилы Пуховой о разводе с мужем...

И пошли, и пошли вычитывать про жизнь Ненилину горемычную, про обиды частые от мужа постылого.

Слушает дядя Никон про куражи свои хмельные и послепохмельные. Слушал, слушал и не вытерпел.

— Что же я над своей бабой не властен?

— А разве женщина не такой же человек?

— Человек!.. Это баба-то?

— Да, что — ты, что — она...

Развел дядя Никон руками.

— Ну и ну!

— Теперь женщина также свободна, хочет — по любовному живет, не хочет — может развестись.

— Нешто можно слободу бабе?.. Да она без удержу столь накуролесит, что хоть самого царя Соломона требуй — не разберет.

Пошушукались судьи, и приговор скорый вышел: Никон — по себе, Ненила — по себе. Говорят, Ненила может замуж сызнова выходить... Это при живом-то муже!

Поскреб дядя Никон поясницу:

— Ну и времена!

— Никон! Что? Как?

Дедушка Луп закопошился.

— А я и не стерпел, дай, думаю, Никона проведаю... Что?

Отмахнулся дядя Никон.

— Видно, помирать нам пора!

---

# ДЕД ЕРЕМЕЙ

МНОГО ЗНАЕТ дед Еремей — много знает, а еще больше про себя разумеет.

На сходке — деда ничуть, словно не на завалинке он сидит—на печи полеживает.

Мужики друг на дружку петухами так и наскакивают, только дед бороду поглаживает.

Посмотришь, не борода — поле снежное, холодом от седины веет.

Холоден снег, да тепло под снегом.

Сколько ни ерепенятся мужики, сколько языки об зубы ни колотят, но без деда никак не обойдутся.

— Правильно я говорю или нет?

У деда от глаз морщинки уличками по сторонам побегут.

— Как сказать... Ты правильно говоришь, и Пахом не врет, да и Гаврила душой не кривит... Речь разная, дума одна...

Надо так-то и так-то...

Глядишь, и Пахом согласен, и Гаврила не перечит, а Ефим и совсем:

— Каково ж рожна мы горло зря драли!..

— Вот поди ж ты!..

Дед с завалинки поднимается:

— Ничево, робят, ничево... Уж коли на сердце накипело, лучше словами накипь изрыгни, не то тоска возьмет... Ничево...

Покряхтит, покряхтит, и к дому.

— Дедушка, куда ж ты?

— Теперь и без меня дело обойдется... Вишь утихомирились...

А лучики бегут и бегут...

У деда — лучики, у Гордея Иваныча — брови тучей нависли, лоб молниями морщин избороздился.

Заведренели мужики, Гордей Иваныч загремел:

— Эх, вы, сиволдуи! Глупым башкам и глупый разум подстать...

Дед Еремей — Гордею Иванычу соринка в глазу.

Да соринка ли?.. Соринку моргай — проморгается, а деда Гордей Иваныч из году в год моргает и все проморгать не может.

Нет, не соринка — бельмо.

Увесисто слово Гордея Иваныча на сходке, уж если на вес прикинуть, пожалуй, над гирей понатужишься.

Да, понатужишься...

А дед кинет щепоть-другую слов, словно и не слова кидает, — понюшку табаку в нос отправляет... Глядь, коромысло на его сторону поход дает...

Коли посмотришь на деда, думается, не с чего бы весу-то взяться: кафтанишко да лаптишки, на голове не то фуражка, не то лист лопушника — не разберешь...

У Гордея Иваныча одна только жилетка все обличье деда перетянет, — перетянет со всеми его потрохами... А если к жилетке прикинуть часы, с цепочкой на два посада, да поддевку гвардейского сукна, да рубаху с ягодой земляники по желтому полю, да сапоги со скрипом, да...

На перечете задохнешься, а ежели все перетрясти да взвесить, пожалуй, до килы надорвешься...

А вот, дед тянет, тянет, — не надрывается!

Да еще как перетянул-то: чашка Гордея Иваныча почесть под самым коромыслом закачалась.

Такого рода дело было...

Об этом речь впереди, а теперь...

---

Поемисты, разливисты берега у реки Оки. Раскатится по весне Ока по лугам водопольем, только макушки ракит чуть над водой кудрявятся. Зелены заливистые луга по Оке. Густ хоровод стогов летом на лугах. Кормист выгон: скотина не всякую травинку на зуб берет, которую только обнюхает, — заелась.

Зимой не солома на зубах шуршит, — сенцо похрустывает.

Хорош корм — хорош и удой.

Удой: в новотел — ведро, в яловицу — полведра.

В молоке купайся — не перекупаешься, одна беда— сбыту нет.

Кабы сбыт: не воду — золото бы черпали из Оки!.. И не сермяга с холстиной плечи мужиков облегала бы, и не ситец с цветком — «вырви глазок» был бы на бабьих сарафанах...

А, хочешь бархату? — Не хочу! — Хочешь шелку? — Не желаю!

— Подай, чего на свете нет!

Такова порода человечья: все приедается, все надоедает...

Да что же я сказал: сбыту нет...

Потеки Волга вместо моря в погреба Гордея Иваныча, из берегов не выступила бы.

Несут и везут молоко к Гордею Иванычу и кувшинами, и ведрами, и... все как-будто в яму бездонную: год от году больше и больше облокачиваются избы на подпорки, а крыши лысеют от соломы...

Хиреют избы мужиков, зато изба Гордея Иваныча точно модёна, наряд за нарядом меняет: строилась с крышей драночной —не фасонисто, прикрылась железной — мало, краской подрумянилась, ребра струба тесом прикрыла.

Не изба — дом.

Откуда Гордею Иванычу такая благодать? Господь ли его возлюбил, кубышку ли в подполье откопал... От торговли прибыток ли...

Какой прибыток!.. Гордей Иваныч говорит: «и беру-то молоко лишь по доброте своей сердечной... Прогорю, так, чай, милостыню подадите»...

Должно, господь за доброту ему невидимо посылает.

Чужая душа — потемки.

---

Будь при поповских глазах такой же рот, слопали бы весь свет в один присест.

Откололся от мужицких полей Выдрин лужок. Как он, зачем к церковной ограде приткнулся — никто из стариков не припомнит. Кто говорит: при прирезке наддачей выделен, кто — будто барин, отбив мужичий лесок, для очистки совести наделил. Мужику ли в законах рыться: косили старики, косят и они.

Косили лужок при отце Харлампие, косили и при отце Прокопие, пришли косить и при отце Федоте. Отец Федот бумагой хлоп: «посему, потому» — косить не имеете права.

Не страшна мужику бумага — страшна нагайка урядника...

Матюгались, матюгались на сходке, и к деду:

— Выручай!

Дед слова не сказал, поклал в котомку подорожники, приговор за пазуху спрятал, на кушак запасные лапти подвесил, помолился на церковь, на четыре стороны серебром из-под шапки тряхнул и за околицу: пошел правду на земле разыскивать.

Ушел дед и сгинул. Видно, у правды ноги резвее.

Проходит месяц, другой, третий, за полгода перевалило, — от деда ни слуху ни духу.

Пришла в деревню и правда с новым правом, а с ней по выгону замаячил в околицу и дед.

Пуста котомка у деда, зато много дед в голову всякой всячины наклал. Только скуп он на слова: порассказать что видел, что слышал, — клещами не вытянешь.

---

Когда еще бабушка Арина своему старику говорила:

— Ой, старик, ходи по улице да отворачивайся от казенки... Ты глянь-ка, серп-от чуть липит, неровен час, как в пору страдную отказ даст...

— Ох, старуха, милостив господь, жалостлив Гордей Иваныч... Одному помолись, другому покучься, и жать тебе новым серпом...

Помолилась бабка Арина на закоптелый лик в киоте, Гордею Иванычу покучилась. Да, один перстом благословляющим не шевельнул, другой животом от прилавка не тронулся.

Как ни милостив бог, но все же в милости ему до Гордея Иваныча — далеко: бог молчит, а Гордей Иваныч вымолвил:

— Вот что, бабка... Уж коли захотела новым серпом жать, так и быть — награжу... Подожди... По-

дожди кланяться-то... Прежде уговор: тебе — носить молоко ко мне, покуда серп не сломается, а мне... Переломится — новый серп тебе... Жни да бога за меня моли... Так ли?..

— Гордей Иваныч... Батюшка!..

Уж бабка Гордею Иванычу — поклон за поклоном, — то поясной, то земной.

А жнет бабка старым серпом.

Не столько жнет, сколько солому руками рвет.

Жнет и думает:

— Не долго пролепит, сломается.

Серп на серп не похож, а не ломается.

Еле-еле с ржаным жнитвом отмаялась, на яровом мочи не стало.

К Гордею Иванычу наведалась.

— Гордей Иваныч, красное солнышко, смени гнев на милость.

Гордей Иваныч и руками и ногами.

— Уговор помнишь?

— Как не помнить!

Уговор дороже денег.

Старик помер, похоронила, — серп не ломается.

При новом праве Гордея Иваныча совсем было на нет свели, и опять Гордей Иваныч на ноги стал, — бабка все жнет старым серпом.

Жнет...

А молоко к Гордею Иванычу носит: эва, сколько переносила — неужто на последках серпу пропадать.

Носит...

Прослышал дед Еремей про бабушкино горе.

И надумал дед такую штуку.

---

С зарей какой грех случился: не успела она подрумяниться, а дед уже у амбарушки гоношится. Совестно заре — на пол-неба зарумянилась. Дед мазилку в лагунке макает и по доске выводит:

«СЕЛЬСКАЙ ХОЗЯСТВЕННОЙ КАПИРАТИВ».

Росписал дед доску, через два шага глазом окинул: любота! И прибил над дверью амбарушки. В углу икону Николы-угодника повесил. Помолился, уселся на пороге — ждет.

Идут мужики, глаза таращат:

— Что за притча?!

Завернули:

— Ай торговлю открыл?

Дед молчок.

Заглянули в амбарушку, шаркнули глазами по стенам, накату.

— Паутиной торгуешь?

У деда лучики побежали.

— А это вот что, робят...

И начал дед про кооперацию растабаривать: чтобы, значит, торговцам не давать себя обирать, чтобы товар нужный для себя самим закупать и самим продавать... Много кой-чего дед наговорил. Выходит, приноси молоко да на пай записывайся, и сам себе купец.

Почесали мужики в затылке:

— Нда-а!..

Разошлись.

Сидит дед на приступке: день сидит, другой сидит, третий на исходе. Мимо него к Гордею Иванычу ведра с молоком так и гремят, так и гремят, а к деду не звякнут.

Бабка Арина надумала: дако-сь старику криночку христа-ради отнесу.

Отнесла.

С легкой руки бабки Арины и другие бабы по кринке принесли.

— Жаль старика!.. Старик-от хороший, на тебе, голова развинтилась.

Повеселел дед, сидит на приступке, в корчаге масло сбивает. Отнес дед масло в город. Под иконой Николы-угодника два серпа да две косы подвесил.

У бабки Арины серп долго жить приказал. От радости у бабки аж сердце затрезвонило.

— Нук-се, новый серп!

Труском, труском к Гордею Иванычу.

Так-то и так-то.

Гордей Иваныч на половинки серпа глаз прищурил:

— Цена серпу — три пуда ржи.

— А по уговору, за молоко?

— Ты в уме, серп за молоко!

— Уговор был...

— Мало ли, что прежде было... Теперь разговор иной...

Идет, нейдет бабка.

— Горе-то какое... Рожь из колоса течет, а жать нечем...

Идет мимо амбарушки деда Еремея, зашла посетовать: горе да беда на людях по ветру развеется.

А дед Еремей серпы снял.

— Выбирай любой. И цена серпу — ведро молока.

Бабка так и ахнула.

— За ведро-о? Да как же я Гордею Иванычу три года молоко носила?!

— То-то и оно-то!

Глазам своим бабка не верит: не то спит, не то бредит.

Да, серп настоящий, и дед Еремей в естестве.

Попробовала бабка острину: не серп — бритва.

Не успел дед после первого покупателя перекреститься, как у амбарушки только гром пошел: с молоком со всех сторон прут.

— Дедушка, да мы тебя молоком зальем.

Дед молчком, но строгий счет молоку ведет. Нужда у кого в каком товаре — записывает. Кой-то когда слово проронит:

— Вот она, робят, капирация-то...

— А нам и невдомек...

— А-а! Сколько, Матрен, паев тебе?

— Пиши, как и всем...

Гордей Иваныч не утерпел, в амбарушку заглянуть зашел.

Заглянул, так и закатился.

— Ах, вы, капираторы голоштанные!.. Помяните мое слово, коли капиратив ваш не лопнет... Как еще лопнет...

А когда увидал Гордей Иваныч от амбарушки подводы с маслом тронулись, да потом как у амбарушки трезвон от кос поднялся, — инда зубами заскрипел. К деду:

— Ты что же это, разбойничать?!. Разорить меня хочешь?!. Нет еще, пожалуй, кишка коротка со мной тягаться...

Дед: ни-ни.

Гордей Иваныч копейку за копейкой на молоко накидывает:

Сначала было и опять к нему кувшины загремели, — погремели, погремели да скоро и затихли.

Нашла на Гордей Иваныча проруха: господь ли от него отступился, кубышка ли иссякла — бог весть, только...

Полиняла крыша, изба на бок закособочилась.

На сходке слово Гордей Иваныча не тяжелее пушинки стало весить.

И закачался Гордей Иваныч на весах, покачался, покачался да и с чашки загремел.

Над домом Гордей Иваныча уже алеет вывеска:

ЗАВОЛИПЬЕВСКИЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ.

В кооперативе дед на счетах пощелкивает:

— Оборот большой пошел.

...Много знает дед Еремей, а еще больше про себя разумеет.

---

# СЕДЬМОЙ БЕС

## I

БАБУШКУ ВАСИЛИСУ за ее злой нрав в деревне величают: «Седьмой бес».

Впервые окрестила Фекла брюхатая, что кажинный год по ребенку носит,—не успеет опростаться,— глядь, и опять брюхо выше носа дуется.

Как-то лаялись, лаялись, бабушка Василиса и попрекни: «да у тебя, говорит, в избе чисто постоялый двор, — пастухи завсегда и днюют и ночуют».

А Фекла: «полно тебе, Сёмой бес, сквалыжничать-то».

Услыхали бабы: «хи-хи... Сёмой бес... И скажет же... Сёмой бес».

Бабушка позеленела:

— Ах ты, паскуда!

— Сёмой бес!

Так с злого языка Феклы и пошло: «Седьмой бес» да «Седьмой бес» — опричь иного званья ни от кого нет.

Бабушке нож вострый, да ничего не поделаешь: поносное слово мылом не смоешь.

## II

Поднялась бабушка еще до петухов и на своих загудела:

— Валяйтесь, валяйтесь... Нежьте-есь, небось за ночь-то с мужьями не нанежились! Нет бы свекрови в чем помочь... Нежьтесь, авось пронежитесь...

— Да отвяжись ты, старая вязга!.. Что ты спозаранок, словно телега немазанная, заскрипела... Дай хоть спокою людям, — чай за день-то намаялись, — попытался было угомонить старик-свекор с голбца.

— Балуй снох-то, старый потатчик... Набалуешь,— выгонят еще из избы-то... Помяни мое слово, коли не выгонят. Помян-ешь...

— Вот сера-то липучая пристанет. Хоть с глаз долой уйди... Эй, бабы, вставай!

Кряхтит старик, почесывается, крестит рот.

Вскочили снохи, в избе такая поднялась разноголосица:

— Ва-ва-ва!..

— Уа-уа-уа!..

...— Ты, Матрешь, за Митькой-то доглядывай, в пруд не кувыркнулся бы... Ондрюшке не забудь соску сунуть... Ондрю-ю-шенька... чш, чш... нишкни.

...— Валандайтесь, валанда-йтесь, люди-то добрые, небось, уж другую полосу зажинают, а вы валандаетесь...

...— Марья с Анисьей, клин дожинайте, а ты, Олена...

...— Распоряжайсь, распоряжайсь, старый греховодник. Нешто так распоряжаются? Рази они слов-то чуют?..

А сама у очелка ухватом так и порскает, так и порскает: охают горшки, неладом верещат чугунки, только огонь в печи заодно с бабушкой дрова грызет.

## III

Осталась бабушка домовничать с малыми ребятами.

Испекла в поддымке лепешек. Ребятишки за ней, словно выводок за уткой:

— Бабушка, дай лепешечкю...

Пуще всех Митюшка-пузырь — ходить не ходит, а за другими тянется, подползет, рученкой за подол ловит.

— Баска, ам... ам...

Бабушка ногой чок: «Эка прорва... хоть бы господь-батюшка кого прибрал... Не-ет, не приберет... Знать, мои грешные молитвы не доходят»...

Митюшка затянул: ва-ва-ва...

По грязной поползушке шлепок: наелся.

Осерчала бабушка: «экой галдеж, хоть бы на минуту вскрёсу». Вышвырнула всех на улицу: «гуляньем сыты будете».

Покатилась мелюзга через порог: кто кувырком, кто носом зачертил.

Матрешка, постарше всех, не стерпела, возьми да и крикни: «Сёмой бес».

Ох, как взъярилась бабушка. Коршуном налетела, Матрешка увернуться не всопашилась, — расписала же ей задницу такими узорами, каких, пожалуй, и Маринка-искусница на ручниках отродясь не выбирала.

## IV

Управилась бабушка с делами, пошамкала лепешек и открыла окошко. Глядь, уже насупротив повойник ее приспешницы-разговорщицы Афимьи в окошке торчит.

Про Афимью слух в деревне идет: килы напущает.

— Афимья, здорово!

— Ох, здорово, Василисушка, здорово!..

— Глядишь?

— Гляжу, родима Василисушка, гляжу... Думаю, что-то долго Василисушка не полднюет, уж немочь ли какая не прихватила...

— Тьфу, типун на язык! И то всю ночь постень давил, так давил, чуть-чуть не задохлась.

— Господи-сусе, чай, на постель левой ноженькой, Василисушка, ступила.

— Не приметила... Живешь, чисто в муравейнике каком... До себя ли тут... Уж так-то скверно, так-то скверно. Просто глазыньки бы ни на что не глядели... Сяду вместе за стол, — не пьется, не естся... Как гляну, сколько хлеба слопают, так инда кусок в горле станет...

— Ай-яй... А ты, родима Василисушка, и не томи себя думой, — пускай, что хотят делают. Вам со стариком не сколько надо, хватит, за милую душу проживете...

— Эко сказала, — чай, добро зря переводят свое не чужое...

— А ты слышала: опять «он» к Мавре зачастил летать, вчерась искрами по небу полыхал.

— Видела.

— А Дашка-то Симиёнова все еще с Егоркой-домажиром хороводится. Всю ночь напролет с ним просиживает... Дохороводится.

— И поделом Симиёну-то: больно богачеством своим возгордился, — мне, говорит, ровни по всей округе нет...

— Жаль девоньку-то: такая поклонистая, такая приветливая...

По улице с граблями на плече павой плывет Маринка-искусница. Поравнялась.

— Здравствуйте!

— Здорово!

— Здорово, Мариша, здорово, красавица!.. Ворочать идешь?

— Да, на Наглинках два пая не убраны.

— Ступай с богом!

— Про Маринку-то слыхала, родима Василисушка? С брюхом из города-то приехала!.. Право слово!.. Вот какие теперь девки-то пошли!..

Идет Егорка-домажир, пригудает:

За тебя, ядрена мать,
Хотели голову ломать.
Не придется никому
Сломать отчаянну мою...

— Эй вы, собранье нечестивых, ворожите иль колдуете над кем? Когда помрете, и вобью же в могилу по осинову колу. Ха-ха-ха!

Оконницы хлоп. Повойники исчезли, — что иного от озорника ожидать?

V

Свечерело. По выгону: ржанье, блеянье, мычанье, хлоп кнута. Батюшки! Рыжонка Матренина впереди стада в околицу лупит: быть завтра ненастью. Рыскает

люд глазом по небу: что̀ бы господь дал, хоть денек еще поведрило, — с покосом пошабашили бы.

Бабушка Василиса на печке охает:

— Ох, поясницу всю разломило, должно, к непогодью...

— Эк, за день-то не наваляласъ, притворщица старая, — огрызнулся старик.

— Накажет бог за мои страданья, накажет.

— Матушка, слезай ужинать.

— Жрите! Вот умру, — все набольшими станете!

Семья ужинает. В красном углу сидит старик, по сторонам — сыновья, по концам лавок прилепились снохи, чтобы скорее выскочить, если в зыбке пискнет.

— Народ болтает, будто мужикам барскую землю передадут... — буркнул большак Никита.

— Говорят, кур доят, а у кур титек нет... Так тебе и отвалят: подставляй, мол, Микит, дырявый карман, коли мало̀, еще прибавим, — огрызнулся отец.

— Уж больно гоже бы было, кабы барское поле нам отвели... Чужое под боком, свое — семь верст киселя месить.

— Отведут, отведут... На печке тебе отведут — тепло и не дует. Недаром говорят, бабий ум куриный... Да нешто можно чужую собственность трогать? Когда это было?..

— Теперь новое право: что народ поставит, так тому и быть... — сунулся было и меньшак Алексей.

— Тебе бы помалкивать надо, слушать, что старшие говорят.

— Канительтесь, канительтесь, канительщики!.. Палите карасин... Чай, карасин-то из речки ведрами носим... Канительтесь!..

— Не лежится тебе.

— Эва, другую кринку молока хлещут. Думаете, свекровь на печи и не видит... Не-ет, все вижу, вижу... Будете в мясоед на мурцовке сидеть!

— Истинно «Сёмой бес»... Тьфу! — плюнул старик.

## VI

Воскресенье. Семья кобедничает, только бабушка со старшоной снохой у печки за стряпней копошатся.

За окошком голос задребезжал:

— Милостыньку Христа-ради подайте.

Сноха — к короваю, бабушка — коровай в залавок.

— Больно раздобрилась, всех не накормишь!

Хлопнула оконцем.

— Бог с тобой!

В окошко хлынуло: трезвон, крик петухов и голос:

— Не дайте с голоду подохнуть...

— И подыхай! Анисья!.. Анисья!.. Сазан толстоголовый, гляди, Петровы куры у наших корм клюют. Шуа!.. Шуа!.

— Чай, не бог весть сколько съедят.

— А-а, тебе наплевать... Хоть все добро растащи!

Анисья вышла на улицу.

— Шш, проклятые! Цып, цып...

Из печки стрельнул уголь, бабушка за животики.

— Батюшки, нечаянный гость. Хлеба-то, хлеба-то что поест.

За окном судачила с кем-то Анисья:

— Так, так... Да, да... Вот, вот...

— Анисья, ты чево запропастилась там, жараток заметать иди. Тебе бы только балясы точить, а свекровь хоть подыхай, и горя мало...

— Василисушка, выглянь-ко в окошко... Дела-то какие... Мы, вот, все с Анисьюшкой ахаем...

— Ты чего, Афимья?

— Да как же, родима Василисушка, ты нешто не слыхивала, что в Заволипье-то вышло? .. Пришли, родима, с ружьями, ровно грабители какие, да весь хлебушко и увезли...

— Чево ж мужики тамошние, дураки отдали? Да на мои руки, думается, жива не была бы, нипочем не отдала! ..

— Вот поди ж ты... Бают, не седни, завтра и к нам нагрянут...

Хохлушка вдруг ни с того ни с сего вскочила на изгородку да петухом пропела. Старухи ахнули:

— Не перед добром!

Затрезвонили к выходу: народ валом повалил по улице и таял по дворам. Всюду гремят вытрясаемые самовары.

Под окошками верещит Палашка:

— На сходку выходите.

Никита сердито встряхнул волосами, ушел.

## VII

В избе словно стадо поросят пасется, — отхрапывают послеобеденный сон.

Пришел со сходки Никита.

— Что? — поднял голову старик на печи.

— Ничего... говорун из города был... Известно: мы-ста, да вы-ста... рабочие... протальят... А хлеб подай... Да мужиков тоже на кривой не объедешь... Все, как один — ответ: хлеба не дадим.

— И правильно. Мы работаем-работаем да лодырей господских кормить будем!

— Говорит, добром не хотите, отряд пошлем...

— Это еще бабушка надвое сказала, чья возьмет...

## VIII

Над деревней дыма не видать, а суматоха, как в пожар. Идет отборка хлеба. Бабы по хлебушку, как по покойнику — с причетом. Жалко: каждое зернышко потом мужичьим наливалось, а тут ни за что, ни про что — отдай.

А жальче всех бабушке Василисе: ка-ак вцепилась в мешок, насилу оторвали.

## IX

Увезли хлеб, — бабы слезы утерли. А бабушка под образами лежит.

Пришла навестить Афимья-говоруха.

— Что-й-то, родима Василисушка, надумала?

— О-ох, помирать пора!.. Только подумаю, столько хлеба отняли, инда все нутро переворачивается...

— Да, да, родима Василисушка, меня самое тоже очекурило, так очекурило, что и посейчас притти в себя не могу.

— Лежу, а перед глазами все мешки с хлебом крутятся...

— Живи, родима Василисушка, живи... Авось, господь даст, переживем... С кем же я разговор беседовать буду без тебя!..

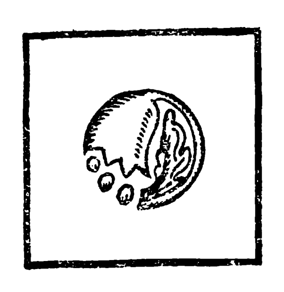
— Тошно жить стало...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вечером бабушку соборовали; утром крышка от гроба у крыльца стояла.

Такова наша жизнь.

# ГРЕХ



КАК ТОЛЬКО ЕГОРИЙ замостит реки, Савва гвоздей наострит, Никола молоточком пристукнет, а Варвара заварварит по дороге метелями,—дед Онисим забирается на печь.

Холодна зима, да тепла печь, долги ночи зимние, да толсты своды глиняные: три — не протрутся.

Нужно деду отлежаться, нужно, чтобы кости, за лето-летенское работой изломанные, в суставы вправились. Ведь, спина словно обод у колеса, изогнулась, руки-грабли пальцами негнуткими в стороны топорщатся, а и где ж им, кроме как не на печи-костоправке, и расправиться.

Нужно деду силушку, пòтом в зерно вложенную, — из хлеба обратно вытянуть.

Отдыхает дед. Отдыхает день. Отдыхает ночь.

День зимний, что мужик похмельный — глянет осоловелыми глазами и опять вхрапки.

Спиридон-поворот солнце на лето, зиму на мороз повернул. Медведь на другой бок перевернулся. А дед лежит...

Лежит дед, слушает, как за стеной бахают морозы. Пробахали: никольские, рождественские, протрещали и водокрещи.

Дед лежит.

На Петра-полукорма, с кряхтом, с чёсом слез дед с печки, промялся, задал корму животине. Сено в сарае на глаз прикинул: дотянет ли еще на пол-зимы. На дворе сивка за хвост потянул — не пятится, буренку за рога пригнул — не падает, значит, сыты: зиму выстоят.

Полюбовался на поседелые инеем деревья, глянул: «от забора» или «у забора» снег, — запрыгало жеребенком-стригунком сердце деда: «от забора» — к урожайному году, припомнил: не даром осенний лист ничком падал.

Перебрал бы дед и другие приметы, да мороз подхвостнул: брр...

И закряхтел он снова на печь, насилу-насилу отогрелся. Отогрелся, домашним пробурчал:

— Погуще соломой встряску трясите... Сена-то в обрез... Весна ранняя будет, авось до подножного корма дотянем.

Старуха у шеста ухватом звякнула.

— Небось, кирпичи насквозь пролежал.

Сын седелку чинил, о пол подпругой шлепнул:

— А мы так без тебя и не знаем.

Сноха корм курам обваривала, корыто скувыркнула.

— С Николы корову на соломе держим, сенцом-то только попудришь.

А дед уже храпы задает.

Февраль-бокогрей воробьиным носочком солнышка в полуденное оконцо клюнул.

Перекатился дед с боку на спину. А солнышко в лысину клевок. Вскочил дед и заскребся: поскреб поясницу, поскреб и холку. Скреб, скреб, — по лысине хлоп:

— Оказия!

Скорей ноги в валенки, на лысину шапку, тулуп — рукав на руку, рукав — по полу, — и на улицу.

Василий-капельник по застрехе крыши бахрому сосулек развесил. Что ни сосулька — свеча местная. Хрустнул лед сосулькой; глаза от снежной яри покрыл.

Потянуло деда к повети, где сохи да бороны вповалку спят. Оглядел: к сохе новые рогачи, к бороне новые зубья смены требуют.

Солнышко уже не воробьиным — куличьим носом в окошко долбит. Долби, не долби, — дед печку покинул, сидит на скамейке да топором по бруску ерырыкает. Поточит, проведет по лезвию прищуренным глазом, пальцем потрогает: остро ли, и опять ерырыкать.

Евдокия весну привела.

Красна Авдотья — красна весна, да чуть-чуть снежком попудрилась.

На задворках без умолку тявкает топор у деда.

Герасим-грачевник свое стадо горластое из-за моря пригнал. От восхода до захода горланят из-за гнезд грачи: спешат, весну дружную чуют.

Не успел на сорок мучеников день до ночи дорасти, как уже под навесом повети: соха новые рогачи кверху задрала, борона зубьями ощерилась.

Пришла Дарья-грязнуха, загадила проруби, поля закоростила проталинками. Алексей божий человек пустил с гор ручьи, хотел коросту на полях обмыть, да еще пуще размазал.

Дед из саней оглобли вывернул: сани под поветь, из-под повети телегу выкатил.

А вот и Марья весело заиграла в оврагах ручьями, в синеве трелью жаворонков, — играла, играла и вдруг осердилась — рекой надулась. Да увидал Федул

Марьину прыть, губы теплом надуя, и враз небо в водополье опрокинул.

А в небе, точно богомольцы к угоднику, тянутся и тянутся вереницы птиц из-за моря.

Кликнул на лету кулик, курлыкнули журавли, по синему холсту прострочила стежки стая гусей, и кроят ножницы хвостов ласточек.

Слушает дед крики птичьи, а птицы ему кричат: быть урожаю, быть урожаю...

Приложил дед руки к груди земной, земля паром дышит.

— Пахать время!

Как ни спешил Егорий, как ни гнал коня, опоздал: застал скотину на пастбище. Он в лес повернул, а там: береза листочками сморщилась, ольха сережки развесила, верба зайчики позолотила. Хвостнул Егорий веревочными вожжами дождя с облаков, подстегнул коня молнией, осерчал громом. Лягушки в болоте кваком его передразнили.

Умылась травка, — зеленью улыбнулась.

Стонет земля: груди соками набухали: пахать пора...

Слышит дед ропот земляной и в ручьях, и в весеннем дожде.

Еще бы ему говор земляной не понимать: из века в век с землей роднится.

Знает дед, что овес грязь любит.

Пригонят стадо. Сивко глазом на деда косит, что со стариком подеялось: давно бы пора на пашне понатужиться, а он по задворкам слоняется. Игогокнет сивко, деду голову на плечо положит, дед челку ему расправит: знаю, сивко, твою думу, знаю... и у самого руки по сохе ноют, да вишь...

Связала святая неделя руки деду, и-их как связала...

Весел говор колоколов пасхальных, звонки девичьи голоса в хороводе, смешлив скворец-пересмешник, у скворешника болтовней разливается.

Напрасно скворушка и кукушку передразнивает, напрасно и петухом ерепенится, напрасно и соловьиные завивы пускает...

На душе у деда целина непропаханная.

Выйдет под навес: соху повертит, палицу к сошникам приладит, так и этак прикинет... Руки чуют силу неимоверную, так бы и всадил сошники в грудь земли по самые рогачи... Да велик свят-христов день.

Нет-то деду места нигде: на завалинку усядется — не сидится, на задворки тянет, с задворок — в поле, с поля — к реке...

Велика мука бездельная в долгий весенний день. Насилу-насилу дождался дед, когда день вечером нахмурился.

День прошел — семь впереди.

Всю-то ночь с боку на бок проворочался дед, вдруг стала печь жестка, а была с осени, точно и не из глины, из пуха сбита.

Ворочается дед, вздыхает, — вздыхает, ворочается.

Старуха с голбца соболезнует:

— Старик, ты чего ворочаешься все? Али в брюхе с розговенок бурлит?

Вздыхает дед:

— Пахать время... Святая подкузьмила... Вот как подкузьмила...

— А ты, старик, не печалься, воля божья... Господь праздник установил, господь и народит...

— Э-эх!..

Петух ночь на часы поделил: первый час — нечисти пинок, второй — старухам на покаяние, третий — молодухам...

На третьем — дед понитох на себя натянул, сапог на ногу, об пол пристукнул.

В избе углы в серомутном рассвете потонули: за занавеской сын храпит, мычит спросонок сноха, на голбце стонет старуха: должно, постень давит...

Ходит дед по избе на цыпочках — не тревожит никого.

Старуха зашевелилась.

— Отец, ты куды собрался-то в такую рань? Уж не пахать ли надумал?.. Побойся бога, дни-те какие!

Сын завозился:

— Не дури, отец... Ославишь и нас по деревне, глаз из-за тебя тогда на люди не кажи...

Молчит дед, кушак подтягивает.

Затянул кушак, вышел.

Сарай накрылся розовым платком зари. Помолился дед на розовый плат, запряг сивка в соху, понукнул.

— Но-о, господи благослови!

Зашелестел сохой к околице.

На колокольне в оба края бормотал колокол, по улице тянулся в церковь люд.

Завидит кто деда, и глаза по ложке:

— Глядите-ка, одурел старый... Пахать на второй день поехал!

Поравнялся с церковью, с колокольни брызнул трезвон, вокруг церкви крестный ход закружился. Мужики чуть хоругви из рук не выронили.

— Старик-от!..

А дальше не слова — руки по сторонам развели.

Батюшка ручейком к Онисиму от потока людного отделился.

— Одумайся, Онисим, что ты делаешь... В такие дни господь и грешников от муки освобождает... А ты... Ай-ай!..

Голова батюшки от плеча к плечу закачалась.

Тпрукнул дед на сивка, дернул возжу на поворот, — сивко ни тпру ни ну — не признает, знай, за околицу прет.

Душа деда назад тронулась, — ноги вперед шагают.

— Одумайся, Онисим, господь накажет...

Давно одумался дед, дергает сивка назад, а сивко вперед и вперед, только и остановился у полосы.

На душе у деда — как-будто сошниками за камень задел.

Первый отвал — камень с души долой.

Понукает дед сивка лишь для пущей важности, — бодро сивко хвостом машет, бодро сивко вышагивает. Не отстает и дед.

Застоялись за зиму.

Пашет дед до полдней — пашет не полднюет, в обед — пашет без обеда, лишь в сумерки по деревне с сивком закорячились: устали.

Едет дед по улице, — все пальцы на него:

— Безбожник!

Много шума, много гама, да никто душу деда не колупнет, а душа деда о грехе тоскует... Ведь, мужичья душа не в теле — в земле зарыта.

Пахал дед на третий день: пальцев на половину убыло. Пахал на четвертый — убыло на четверть. Выехал на пятый сеять — ни одного: рукой махнули.

Сеял дед, когда молодой месяц рогами в хребтину реки боднул, да загляделся месяц в зеркало болотца и

умыться позабыл: заведренел до старости. Житья месяцу всего тридцать дён, да за каждый день мужик годами кряхтит.

Выехали мужики в поле на Еремея запрягальника. Они пашут, у деда на полосе уже зеленая щетинка. Высохла грудь земли, в пору зерном не выпитая — потрескалась.

Прошел Сидор, унес сивер, — оставил жару. За ним и Федот макушку дуба зелеными кудрями завил. У деда овес в пол-овса, у мужиков одно звание, что овес.

Минули Федосьи-колосницы. Петр-капустник лето на жару уставил. Откуковала кукушка.

Мужики звонко отбивают косы, бабы потянулись к кузнецу серпы зубрить.

На Казанскую в зелени луга замаячили цветные рубахи мужиков.

На Андрея первозванного наливается рожь. На полосе деда овес уже кистями шелестит, у мужиков пустая метелка.

Поднимали мужики иконы в поле, о дожде молили. Идут облака дождевые, да гонит Илья супротив ветра — прочь.

Попыхал Илья пророк зарницами: зорит хлеба́.

Попыхал, попыхал Илья, потом заворчал на мужичью лень. Поворчит да с сердцов-то нет-нет и горстью града метнет.

Загремит Илья, — у деда сердце екает: его и его Илья со стрелой ищет.

Дед трясется, — овес и головы не клонит.

Отодубел дед, когда Калинник брусникой зарделся, поля туманом окутал, — не найдет Илья.

Заскрипел сивко с возами, хвост дугой; тяжел воз, да везти приятно: будет сивому зимой что пожевать.

Поглядывает сивко на соседских лошадей: у тех не воз, а подсидник.

Понукает дед сивка, понукает для виду, — сивко и сам свое дело туго знает.

Понукает дед, радостно понукает.

Глядят мужики на деда, глядят — глазами слопать готовы, руки от затылков не отстают.

— Вот поди ж ты, мы праздновали, и нас же господь наказал.

Улыбается дед, улыбку под бородой прячет, да где спрятать, коли улыбка водопольем по лицу разливается. Терпит, терпит дед да иной раз не вытерпит — скажет:

— Бог-то бог, да сам-то не будь плох.

---

# БУРЫЛЯ

ПРОБЕЖИТ ПО УЛИЦЕ Зуевки ветерок, с присвистом выкинет на дороге коленце, другое, пройдется рябью по воде, взъерошит поседелые макушки ветел у пруда.

Ветлы, подбоченясь корявыми стволами, тряхнут листвой, кажется, вот-вот приподымут ногу в лапотках корней,—приподымут да притопнут.

Может, и притопнули бы, кабы бревна корни не придавили.

Бревна у ветел лежат еще с тех пор, когда жизнь мужицкая не колыхалась, а как вода в посудине покойно стояла.

И не на зря были бревна свалены.

Заклевал зуевцев красный петух и так заклевал: лета не минет, чтобы по крышам красными крыльями не захлопал.

Иной раз со стройки и согнать бы можно, да пока багры ищут, пока кадки замокают, — его потà и видели.

Петух улетел — хорошо, только плохо то, что от мужичьего добра пеплок чуть тлеется.

А мужичье добро: каждый грош — годами тянет.

Надумали зуевцы пожарный сарай построить, чтобы, не приведи бог, коли грешным делом, — все под руками было.

Сгоряча навозили бревен, свалили под ветлы, сели передохнуть.

Сели да и засиделись. Время бы, господи благослови, в руки поплевать да и за топор, а они сидят, цыгарками попыхивают. Так до полден и пропыхали.

Солнышко медленно к полдням поднимается, с полден покатится — зевнешь — рта перекрестить не успеешь.

Потому-то мужик с полден старое дело заканчивает, новое на завтра откладывает.

Отложили зуевцы рубку на завтра.

А завтра — веревка круговая, сколько ни перебирай, все будет завтра.

Завтра, да завтра, а там и последний уголек в душе опеплился.

Зато на бревнах все дела мирские решаются.

Соберутся на сходку, первое слово:

— Надо бы, православные, сарай рубить.

— Надо бы...

— Да, вот, уж после Николы примемся.

Потолкуют о недогороженных пряслах, матюгнут Матрену за блудливую корову, сдадут за четвертушку пустошку под покос: нужно же горло, руганью надорванное, прополоскнуть.

Прополоскнут и по дворам разойдутся.

После Николина дня опять:

— Что же, православные, пора бы и за стройку?

— Еще как пора-то... Вон, собака у Максима Петровича каждую ночь скулит... Не перед добром!

— Спаси, господи, и помилуй!.. Накличешь еще беду! Давайте-ка, православные, примемся.

— Вот уж когда с севом покончим... К Троице сделаем.

— Верно!

Горло промочили межничком.

После Троицы Петров день на носу.

А там Ильин день не за горами.

Много сходок было, много пропито пустошей с покосами, ляд с посевами.

Все больше и больше брюзгнет пруд: берега заплыли грязью, вода оделась зеленоватыми звездочками ряски, и больше полысело ветел.

А бревна все лежат и лежат, только на ряд убыли: нижние подгнили, верхние от сиденья отполировались. В промежутках навострил зеленые коготки румяный чертополох, рядом пробирается чахлый стебель подсолнечника.

Чертополох — мужик: где ни приткнется — везде выживет, а подсолнечнику давай гряду да навозу. Не своей волей подсолнечник в бревна попал: выскочило зернышко изо рта девичьего, от шутки парневой.

На бревнах не только полушалки девичьи алые да косоворотки парней рдеют, там и ребята друг дружке пàдеру дерут, там и бабы в праздник посудачат, там и старики старинку копнут.

Иногда и бобылка Фекла на участь бобылью посетует.

На бревна приходит посидеть даже Максим Петрович.

Еще только от лавки переваливаться начнет Максим Петрович, — ему на бревнах уже место готово, подойдет — старики лысинами из-под картузов блеснут, баб Максим Петрович и сам одернет:

— Ну-ка, бабы, замолчи... чай, вдосталь языки начесали...

Со вздохом усядется Максим Петрович на бревна.

Жилетка у него врасстежку, сзади хлястик с пряжкой болтается, на сапогах солнышко заходом румянится.

Речь Максим Петрович поведет: слова на весах отвешивает, и то с недовеском.

А бывает... хоть и редко, но бывает, что Максим Петрович расщедрится, да без весу слова швырнет.

Это бывает, когда ветлы зайчиками позолотятся, у зайчиков зазвенят пчелы, а в розовом от заката пруду заквакают лягушки.

Чья же душа весенним вечером не растопится?

Расплавилась и душа Максима Петровича воспоминаньем:

— ... «Осталась матушка, царство ей небесное, после покойника батюшки сама шестера, все-то один другого меньше... Ни лошаденки, ни коровенки, ни другой какой скотинки... Только и было всего у матушки капиталу, что кусок холста. При такой ораве брюхо прикрыть на всех не хватит... Я в семье набольшим остался... Вижу — дело дрянь, как-нито изворачиваться надо... Давай у матушки холст клянчить... Матушка и руками, и ногами... Да, ведь, знаете, какой характер у меня: что задумаю, гвоздем не вышибешь... Пристал к матушке, проходу нигде не даю, и так надоел, что матушка холст мне швырнула: «подавись ты, язва, всю жизнь своим нытьем вымотал»... Я скорее холст в оборот... Матушка спохватилась, деньги за холст требует... Да, ведь, я не таков... Как матушка ни молила, как ни проклинала — не отдал... А купил четвертную сивушки... Табачком настоял, водички малость припустил... Каюсь, дело прошлое... И такая вышла водка — быка свалит... Мужики, как очумелые, после ходили... Глазом мигнуть не успел, как четвер-

тушку распродал... Купил ведерку... Опять табачку, водички — и пошло... Труден первый шаг, а потом и верста нипочем... Дальше-больше, с легкой руки матушки и пошло, и пошло... Эва, как господь меня благословил»!..

Проведет Максим Петрович рукой от пруда поперек улицы.

Побегут глаза за его рукой, непременно упрутся в узорчатую, как праздничный полушалок, вывеску «Мелочная и розничная торговля Максима Петровича Латырина»...

Старики поддакивают:

— Никто, как господь тебе, Максим Петрович, помог.

Максим Петрович глаза к верхушкам ветел вознес:

— Благодарение господу!

Поднял Максим Петрович руку для креста, да перекреститься не успел:

На огне железо плавится, плавится, да скоро остывает.

Душа у Максима Петровича — железо.

Максим Петрович спохватился:

— Бабы, чай, домой пора... Небось, ребята обревелись.

— И то засиделись... Пойдем, бабы, управляться время...

Поднялись бабы ко дворам, только Фекла-бобылка с места не тронулась.

Куда бобылке и зачем спешить: на дворе скотина голодная не замычит, ребята на подоле не повиснут.

Окинул Максим Петрович бабью сторону, уперся взглядом в Феклу, да взглядом на ней не задержался: бобылке — грош цена красная.

Постучал Максим Петрович костяшками по комлям.

— А что, старики, дерево-то пропадает...

Мужики картузы на лоб передвинули и снова на затылок сдвинули.

— Что говорить...

— И зря пропадает...

— Ничего не поделаешь.

— А что бы мне уступить?

— Как сказать, Максим Петрович... Сарай бы рубить надо...

— А я, старики, на первых порах ведерочку выставил бы...

— Уж, пожалуй, бери Максим Петрович.

— Вд-вд... А на что сарай?.. Который год господь уже от пожаров милует... Бог даст и еще проживем...

У лавки пролаял Полкан, тявкнул раз, другой — затих.

Может, и не лаял бы Полкан, кабы месяц над ним не скособочился.

А вот Фекла с цепи сорвалась — из-за чего?

Избушка у Феклы, как сговоренка платок на глаза, крышу надвинула, окошками в землю уставилась.

Красный петух через крышу перепрыгнет — не заденет, а если и заденет — так убытку не много: родительское благословение из божницы, горшок щей из печи всегда вынести можно.

На что Фекле пожарный сарай понадобился?

— Эх, вы, пропойцы окаянные! Сарай вам не нужен стал?.. Да ему, живоглоту, от пожара только прибыток! Сами же в его хайло ненасытное лезете!..

Мужики лишь руками развели: откуда прыть такая у бобылки взялась?

Опешил и Максим Петрович:

— Ты что, ошалела?

— Ошалеешь, коли ты петлю на шее затянул.

— Уж не тебе ли?

— А то нет!

— Ох ты!.. Ты постыдилась бы говорить-то... Кем ты жива-то?.. Тебе бы денно и нощно бога молить за меня следовало... Ведь, без меня с голодухи давно бы поколела...

— Спасибо!

— Больно расхрабрилась, как я погляжу!.. Я тебе еще покажу кузькину мать!.. А не пойти ли нам, старики, на крылечко к лавке?

— Дельно, Максим Петрович.

Поднялся Максим Петрович, поднялись старики, только месяц над ветлами да Фекла на бревнах остались.

---

От старины пословица ведется: язык брюху не товарищ.

Сорвалось с языка Феклы слово дерзкое. Слово-то выпорхнуло — улетело, а брюхо урчит.

Скорей камень слезой можно растопить, да не Максима Петровича.

Сколько народу около Максима Петровича кормится: кто сдельщиной, кто поденщиной.

Кормилась и Фекла, хоть и с грехом пополам, но кормилась, а теперь ей — ни сдельщины, ни поденщины.

Пришлось Фекле: ложись под образа, ноги протягивай.

Как бы плохо ни жилось, всякий смерти противится.

Понавесила Фекла на окошки избенки соломенные щиты, калитку заколотила, сходила на погост, на могилках родителей попричитала, перекинула через плечо

котомку, взяла в руки посошок и принялась версты отмеривать.

Пошла Фекла за счастьем-удачей в город.

В городе, сказывают, солнышко вечно сияет, сияет и не закатывается.

Хорошо солнышко, пока высоко, а чуть поближе — и жжется.

После Феклы избенка не долго убожеством канючилась, сначала выбитыми окошками тоску наводила, а потом одна яма от подполья осталась: сруб на дрова растащили.

Наконец, и последнюю память о Фекле крапива да бурьян зарастили.

Словно бобылка никогда в Зуевке не жила.

И не одна бобылка из Зуевки исчезла, — от бревен у пруда гнилушки да обрезки комлей остались.

Зуевцы попрежнему у пруда под ветлами побалякать собираются. Теперь не столько балякают, сколько ахают:

— Максим-то Петрович какую лавчищу сгрохал!

— Дда-а...

А кто робенько и скажет:

— Можно ему из мирских-то бревен было...

Скажет, а сам в оглядку: спаси бог, услышит Максим Петрович.

Построил Максим Петрович новую лавку, ставни железными полосами перекрестил, двери замком с сувалдами запер.

Построил Максим Петрович лавку, — во всей деревне не стало ему ровни.

Полкан, и тот у крыльца в новой конуре голос переменил: баском потявкивать стал.

Мало стало Максиму Петровичу одной фамилии, приписал и материну линию: «Бурылин».

Велик Максим Петрович, да мала вывеска: поместилось только «Бу».

А в лавке все желанья человеческие: и чаек с сахарком, а побахвалиться захотел и — карамелькой хрустнуть можешь; коли ситцем ярким глаз кольнуть кому собираешься — на полке ситцы: и зеленее луга весеннего, и с желтым одуванчика цветком, и неба голубого, и утренней зари — цвет.

Спроси любого мужика: нужен ли Максим Петрович?

— Как же, скажут, без Максима Петровича: если тяж лопнул, коса перелетела, серп в пору страдную сломался, — в город за каждым пустяком не накатаешься.

А как в городе? — Товар в руки — деньги на прилавок.

У мужика деньга вольная только по осени и бывает.

К Максиму Петровичу самое разлюбезное дело:

— Ты уж, Максим Петрович, до осени обожди.

— Ладно.

Черкнет в книжку, и пробуй острину косы на ногте или на волосье.

Придет осень: овец остриг — шерстку Максиму Петровичу, бычок отгулялся — мясцо Максиму Петровичу, зерно провеял — в закрома Максима Петровича. Скорее грех от бога утаишь, чем от Максима Петровича, — у него все мужичье добро на счету.

Кто Максиму Петровичу не должен? Разве один бог.

И тот задолжал, когда иконостас в церкви подновляли.

А спроси в деревне любого: знает ли, где конец, где начало его долга. Пожалуй, и сам Максим Петрович

не скажет... так уж положено: родится человек — за крестины попу — к Максиму Петровичу идут, свадьба тож без него не обойдется, а похороны и подавно.

Так всякий от рожденья до могилы у него в долгу.

Может, для того и родятся.

---

Кто бы думал, кто бы гадал, что жизнь наша, как воз с горы кверху копылками запрокинется, и Максим Петрович... Сам Максим Петрович под возом очутится.

Не звякает больше Максим Петрович при отпорке и запорке лавки запорами.

В лавке не спорят запахи: керосина с пряниками, дегтя с красным товаром.

Вывеска закоростилась комьями грязи.

И не блестят больше перед Максимом Петровичем лысины, лишь бороды кверху задираются:

— За меру картошки сатину на рубаху.

— Что ты, креста на тебе нет!

— Ну, так и ешь свой сатин.

Покряхтывает Максим Петрович, крепко покряхтывает на мужичью неблагодарность, да ничего не поделаешь: не пахарь у торговца, а торговец у пахаря в руках стал.

Мало, что на мене мужики его прижимают, еще «Бурылей» — прозвали.

У кого бы прежде на такие слова язык повернулся? Нешто — кто две головы на плечах носит!

Да, ведь, мужичий почет известен: на что почетист бог, а не будь у него в руках дождя да града, давно бы он под сиденье коленом получил.

Долго не звякали у лавки запоры, да как-то и звякнули.

Распахнулись двери, шарахнулись мыши от пустых банок, в лавке грачиный гвалт идет: приехали дошлые люди из города мужиков почетять:

— Хотите хозяевами быть?

— Ой ли?

— Ну, да.

Кто ж от хозяйского званья откажется, хозяйское дело такое: стой да покрикивай.

Дружно мужики хозяевами быть согласились, а как стали приказчика выбирать — и вразброд: тот не хорош, другой на руку не чист, третий в счете не дока̀, четвертый и хорош бы, — выбери его, — нос задерет.

Много гвалта было, да мало толку.

Кто-то надоумил:

— Поставим Бурылю, ему дело привышное.

Кто-то усомнился:

— Не объегорил бы!

— Чай, теперь не он — мы хозяева.

— Что ж...

Максим Петрович будто пред причастием стоит: на лице и страх, и радость.

— Да я для вас, граждане...

— Голосуем!

Проголосовали.

На капитал для раззавода по пуду ржи с дома собрали.

Вывеска во всю ширь разливается: «Зуевское Потребительское Общество».

Максим Петрович фартук подвязал, полки прибирает, весы прилаживает.

Пришли мужики в лавку и этак по-хозяйски:

— Ну как, Бурыля, торгуешь?

— С божьей помощью.

— Торгуй, торгуй... Не то мы тебя, знаешь, можем и по шапке!.. Ха-ха...

— Да я для вас, православные!..

— Чувствуй!

Окинули мужики глазом товар на полках: пудра для лица, шпильки, булавки и разная там мелочь.

— На кой шут дерьма накупил? Бабы, што ли, наши, рыла штукатурить станут?

— «Звено» кроме товаров не отпускает

В святки с девками просто сладу нет, — не столько хлеба съедят, сколько на пудру переменяют.

Разоренье!

В другой раз Максим Петрович опять закупил: орешки, конфетки и тому подобное для брюха баловство.

Мужики к нему:

— Да закупи же ты ходового товару. Лавка своя, а за всем ездим в город.

— В кредит не отпускают.

— На что же нам тогда и лавка?

— Если разрешите, могу за свой страх закупить, от себя торговать?

— Один шут, торгуй, только от ерунды избавь.

Заторговал Максим Петрович в потребиловке и от себя.

От себя продает товары, что мужичий глаз радуют: соль, деготь, керосин, мыло, веревки, косы, серпы, — от потребиловки — для девичьего глаза.

Девичий разумок — ветерок, а глаз и подавно.

Уперся Максим Петрович в потребиловку и снова на ноги стал подниматься.

День от дня все тверже и тверже на ногах, да из «Бурыли» опять Максим Петрович народился.

А к Максиму Петровичу попрежнему в закрома потекло зерно из мужичьих сусеков.

Проговорил кто-то сменить его, — проговорил, да и заикнулся: легко сказать, каково сделать, ведь, не Максим Петрович у потребиловки, потребиловка у Максима Петровича в руках.

Да и потребиловка-то для Максима Петровича, что для печи заслон, — от налогов прикрывает, не то давно бы и вывеску перекрасил, может, и третью фамилию приписал.

И приписал, кабы не Фекла...

Нежданно, как весенний снег на траву, Фекла в околицу ввалилась.

Под ветлами сходка была.

Поравнялась Фекла с ветлами, — ветлы листвой не шелохнулись, мужики на поклон головы не опростоволосили.

Позадержалась Фекла у сходки и к разговору прислушалась.

Там Максим Петрович отчет капиталу потребительскому вел.

Отчет короток: проторговались, дальше или лавку прикрывать или капитал докладывать.

Мужики только отмахнулись:

— Торгуй, как знаешь.

А Максим Петрович и рад:

— А я не понимаю, что ли... Очень хорошо понимаю, досуг ли вам торговым делом заниматься... Наше дело сызмальства... А что, православные, нужно, пожалуй, по-былому и вспрыснуть?

— Максим Петрович!..

Максим Петрович было руку за спину протянул.

За спиной самогона четверть приготовлена.

Мужики около Максима Петровича сгрудились.

Фекла к бабам протолкалась.

— Чтой-то за отчет Максим Петрович отдавал?

— Что!? Вишь, ограбил потребилку, ему и ладно... А нашим пропойцам што?.. За самогон душу продадут...

— А вы чево глядите?

— Што ты не знаешь, что ли!.. Когда это мужики баб о делах спрашивали?

— То прежде было, теперь дело иное...

— И верно... Давайте, бабы, крикнем: несогласны...

— Давайте!

Мужики около четвертной, словно журавли в поле, закурлыкали.

В стороне баб говорок ветерком шелестит, а в бурю никак не разыграется.

Бурей не бурей, а все же вихрем закрутился:

— Несогла-асны!

Мужики от четвертной шарахнулись.

— Кто несогласен?

— Мы.

Максим Петрович — туча багровая.

— А ну-ка, выходи да говори... Кто несогласен?

И вихрь враз по дороге пылью распылился.

Шепчутся бабы:

— Аксинья, говори.

— Эка, больно ловка... Скажи сама...

— Бабы, Фекла взбаламутила всех... Пускай она и разговор ведет.

— И взаправду... Говори, Фекла.

Фекла от баб вперед шагнула, заговорила.

Не бобылья тихость ручейком в речи зажурчала, а весенним потоком хлестнула бойкая фабричная речь.

Максим Петрович закипел.

— Кто тебя говорить-то уполномочил?

Бабы в один голос:

— Мы... Мы...

А поток все хлещет и хлещет на Максима Петровича, и что ни слово, то почет с него смывает, кой-когда из русла выльется и по мужикам укором плеснет.

Мужики в затылке почесывают, не знают — ни матюгнуть Феклу, ни поддакнуть ей.

Может, и матюгнули бы, если бы Фекла на душе старые царапины от Максима Петровича не бередила.

А царапин от Максима Петровича у каждого не сочтешь.

Бабы около Феклы сгрудились.

— Ай да, Фекла!.. Так его и надо...

А как она разъяснила, что кооперация для того и нужна, чтобы крылья торгашам подрезать, тут и мужики поглядывать в сторону Феклы стали.

Поглядывать да поглядывать, потом на мизинец подались, дальше осмелели — на шаг шагнули, — кто твердо, кто с оглядкой.

Оглянешься, когда за спиной Максима Петровича четвертная самогоном мутнеет.

Да слово Феклы и без самогона сердце жжет, и так разожгло, что кое-кто из мужиков гаркнул:

— Что же, всамделе, за порядок!.. Он на нашем добре наживаться станет... Сменить надо!

Бабы подхватили:

— Сменить!.. Сменить!..

Максим Петрович видит, что его дело швах, да не таков Максим Петрович, чтобы увертку не найти.

Вознес он перед собой четверть, как чудотворную икону.

— Граждане, чем зря горланить, предлагаю проголосовать.

Мужики облизнулись:

— Правильно!

Максим Петрович свою линию гнет:

— Понятно, бабы не голосуют. Не бабьего ума дело!

А четвертная в руках Максима Петровича стеклом поблескивает.

У мужиков в горле запершило.

— Чего ж канителиться... Голосуем без баб!

Бабы загамели:

— А мы не люди, что ли?!

Загамели и мужики.

Сколько ни гамели, а пришлось с бабами голосовать

Проголосовали: Максим Петрович — к рожнам.

Переголосовали раз — то же, другой, — опять бабьи голоса верх взяли.

Максим Петрович с сердцов четвертную оземь.

Мужики охнули.

Бабы сияют.

Максима Петровича смахнули, а кем заменить?

Призадумались бабы, мужики с усмешкой:

— Вот он, бабий разум-от... Недаром говорится: бабий волос...

— Бабы, да чево же мы судачим!.. А Фекла?

— Вот, вот... Феклу!

И руки за Феклу вверх.

Максим Петрович отплюнулся:

— Уж если бобылка верховодить станет, тогда хоть на белом свете не живи.

— Принимай, Фекла, дела.

— Нет, говорит, Фекла, сначала учет лавке сделаем.

Учли Максима Петровича.

Нет, не учли, а душу наизнанку вывернули: много темных пятнышек из души Максима Петровича на свет вытряхнули, а с ними и много зерна из его закромов в потребиловку перенести пришлось.

... Зуевцы все так же у пруда собираются.

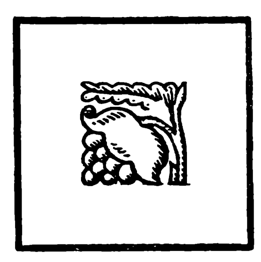
В Зуевке иная стала жизнь, иной и разговор пошел.

И лысины уже не пред Максимом Петровичем, а пред Феклой сверкают.

Бобылке — почет!

---

# ЧЕРНИКА



ДОМНА КАЖИННЫЙ год говеет на середокрестной неделе.

А как говеет: пищу вкушает однажды в день, да и ту всухомятку—размочит в водице корочку, малость лучком посдобит — вот и все кушево.

Чего-либо из печева или хоть бы звездочку маслица в мурцовку, — боже, сохрани!

И то, думается Домне, грешит: святые-то угодники и совсем безгрешные душеньки, а как постились: отщипнет от просвирочки крошечку, проглотит с молитовкой — и так на целый день.

По нашим грехам не токмо, что раз в день, — раз в год зазорно есть.

Тело и кровь христову подобает принимать с безгрешной душой, не то велик грех — ответ на страшном суде придется держать. Ведь душа-то наша у господа на ладонке распластана. Сидит он, батюшка, на престоле и на души зрит: чуть чья душа потемнела, — значит согрешил человек тот, и велит он архангелу грех в книгу греховную занесть. Успел человек в грехе покаяться, — похерит в книге, — нет, — ау! — на себя пеняй: коли представит ангел-хранитель душу того человека к престолу господню, господь сейчас

к архангелу: а ну-ка, Михайла, или там Гаврила, — кто на сей раз дежурный есть, прикинь-ка грехи такого-то. Ангел пальчик помусолит и почнет книгу со страницы на страницу перекидывать: «по лихоимству — копеечкой в храме жертвенной погашено, по лукавству — свечечкой спалено, по сребролюбию, по сребролюбию... «Ага! есть... есть...» Да и на счетах чик, чик и пойдет накидывать: «Гордость, лукавство, прелюбодейство...» И скажет господь: «спровадьте-ка душу рабы такой-то в тартарары — на муку-мученическую»...

И кается Домна, кается уже пятьдесят годов с годами, истово кается, если не в спасенье, так хоть облегченье в муке иметь. Где спастись, коли, что ни шаг, — бес грех подставляет, не делом, так помыслом.

---

В этот год собралась говеть попрежнему на крестопоклонной, да, как на грех, сноха перветьким опросталась, мало что вся работа по хозяйству на одну легла, да еще за снохой ухаживать: то воды согрей, то постирушку постирай, — хлопот полон рот.

Досадно Домне: жди-подожди, когда сноха оправится, не остаться бы без покаяния, — человек она, ведь, не молодой, небось смерть давно у околицы сторожит.

Спаси бог, не ровен час, умереть грешным делом, тогда и мучайся из-за бабьих прихотей веки-вечные.

Только-только на шестой сноха на ноги встала, за дело принялась. Домна скорее за говенье. И опять один грех: уйдет ни свет, ни заря к заутрене, отстоит и часы, от «господи владыко» поясницу ломит, натощак еле-еле домой прибредет... А дома и глазыньки не глядели бы: в избе сору — гора, что порог, что крас-

ный угол — не различишь. На дворе животина мычит: корму не давано, пойло не наношено.

— Да что ж ты, похабница, делаешь? Скотину голодом переморить хочешь?

— Я, матушка, едва на ногах держусь... Неможется.

— А-а, долежалась, неженка! Неможется. На тебя бы мою свекровь-матушку... Бывало, царство ей небесное, не будь тем помянута покойница, дня не даст после родов-то проваляться. А тебя недотрогу, целую неделю не тревожили... Ты бы хоть понятие имела: чай, свекровь постится, на грех не наводила бы...

— Бог с тобой, матушка.

— Тьфу, — плюнула Домна и на печь от греха закряхтела.

Лежит, а бес-то в ухо так и зудит, так и зудит: «мало ее, паскуду, надо бы... Кабы Митрошка не дурак был, послушался материного совета, взял бы за косу да по избе возил, возил и на мороз вышвырнул бы еще... А то только и знает, что на жену буркалы пялит... Подумаешь, какое сокровище нажил. Плюнуть только стоит».

Иной раз ангел мимолетом укоризной в душу завернет: «ой, грешишь, Домна, сноха-то покорница безответная». А бес опять за свое: «мало ее, стерву»...

Недолго Домне пришлось на печи проклажаться, слышит в отдушинку, — заныл звон к вечерне.

Поплелась.

В окошке церкви, светлым мотыльком уже трепыхался огонек.

— Ох, грехи, грехи!.. — крестится Домна.

Легко грешить — трудно каяться.

Насилу-насилу дотянула Домна до пятницы.

Страшен пятница-день: перед святым крестом-евангелием душу наизнанку вытрясти, а вдруг где в уголку грешок да застрянет.

Перед исповедью за прощением ко всем кучься, — другой и человек-то бросовый, а властен над тобой: простить или грехом связать.

С кем же грех постоянный, как не со снохой, — ну и кланяйся, сноха, в ноги. Не свекровь же будет кланяться.

— Матушка, прости христа-ради!

— Бог простит.

Перед аналоем батюшка долго грехи на ниточку нанизывал, а Домна грех от греха узелком отделяла:

— Грешна, батюшка... грешна, батюшка...

И словно пуд-гиря с души скатилась, когда у батюшки греховная ниточка оборвалась:

— Аз, недостойный иерей, прощаю и разрешаю...

---

Суббота — день причастный.

В субботу не плачет однобоко набатный колокол, — кричит во весь рот трезвоном колокол набольший, с подголосками-колоколами малыми.

В субботу не гнетет спину «господи-владыко» — поклонами до полу, а «херувимская», — от земли до неба ставится лестница: по ней спускается в алтарь сам христос, царь небесный, телом, кровью, — причастием в чаше растворяется.

Знает о том Домна, хорошо знает, хоть видывать и не видывала, да слухом земля полнится.

Распахнулись двери царские, в золото чаши окунулось солнце лучами.

Домну в озноб: велик страх, испокон веку положенный. Не поразил бы господь, как грешницу нераскаянную.

Заплелся причастников чинный плетешок, у чаши тающий. Вплелась и Домна.

— Причащается раба божия...

Глотнула, да рот — ворота ветром распахнутые — оставила.

— Что-то не то.

Дьячок мазнул платком по губам, буркнул:

— Проходи.

И опять волынку завел:

— Те-е-ло Хри-и-сто-о-во-о при-и-ми-и-те-е...

Спустилась Домна с амвона: надо бы причастие запить, она столб-столбом. Стоит, язык во рту гоняет: сколько годов причащалась, всегда христова кровь вином отзывалась, теперь вкус другой, а вкус знакомый, только не разберешь что.

— Что така за притча?

Вдруг на языке крошечка затвердилась, выплюнула на ладонь да так и ахнула: черника сушеная.

Народ к кресту сгрудился, сторож к свечкам губы тянет, а Домна ждет.

Батюшка разоблачился, космами из боковых дверей алтаря тряхнул.

— Ты что, Домна? Или запостилась? Иди с богом, святое причастие укрепляет душу и тело.

— Батюшка, прости грешницу, сумлеваюсь... Зачем ты в алтаре до причастия занавеску задергиваешь?

— Ах, ах, Домна, на что тебе знать понадобилось. Тогда совершается великое таинство евхаристии, кровь христова в вино претворяется, и не всякому лицезреть то дано...

— Так в вино, батюшка?

— Ах, Домна, Домна! В писании сказано: сия есть кровь моя.

— Как же, батюшка, сегодня кровь христова черникой отзывалась?

Лицо батюшки — крыша соломенная в пожар.

— Кощунствуешь, Домна!

— Нет, баюшка, гляди, вот ягодку я приберегла... Что же когда в вино, когда в чернику притворяется... Морочишь нас, батюшка... Придется тебе перед богом за чернику ответ держать.

— Кощунствуешь, Домна! Вино только преображается в кровь господню.

— Этак, пожалуй, я и сама могу черники развести, да воображу, что кровь христова. Так тебе и кровь стала!..

— По тупоумию своему, Домна, ты не понимаешь.

— Верно, была дура-дурой, и взаправду верила, теперь поняла...

— Что?.. Претворение?

— Нет, зачем ты занавеску задергиваешь...

— Дура!

Батюшка взмахнул крыльями рукавов и вылетел из церкви.

Домна вслед за ним, головой покачивает:

— Вот-те и кровь христова!..

---

# СОРОКИ

А ВСЕ НАЧАЛОСЬ с того.

Заметала бабка Ульяна угли в жараток, — порскнула раз, другой по поду печи помелом, вдруг уголек из очелка... пук — и через голову бабки в окошко стрельнул.

Бабка и помело в печи оставила, пригорюнилась:

— Не к добру!..

И так это уголек бабке в голову втемяшился: стоит — спит не спит, а не шевелится, — одну руку под локоток, другой голову на бок попридерживает, а уголек мозги думой калит и калит.

Долго ли, коротко ли простояла бы она — бог весть, да внезапно за окошком крик петуха, словно холодной водой, сразу бабку окатил, — очухалась и к окошку.

За окошком: красномедный, как давно нечищенный самовар, петух Карповны, соседки, насел на ее пестрого ястребника.

Красномедный — забияка на всю улицу: соседним петухам просто житья от него нет, — хоть и к своим курам не подступайся.

Свалит рваный гребень на сторону и ходит с мохнами на ногах, ровно комиссар какой в галифе.

Бабка в окошко:

— Шуа!.. шуа!..

Красномедный и глазом не ведет — долбит и долбит.

Карповна насупротив в окошке повойником от смеха трясет, — любо.

Бабка остервенилась:

— Ах ты!!

Да с прутом на улицу, красномедного... хлясь.

Карповна клыки оскалила:

— Не замай, не замай, старая ведьма!

Бабка на зло: хлясь, хлясь...

Карповна со сковородником.

И пошло: то бабка Карповну до крыльца осадит, то Карповна бабку к присаднику прижмет.

Вдруг за присадником:

— Ха-ха-ха!

Карповна на сковородник оперлась, бабушка прут обронила.

— Здравствуй, бабушка!

— А-а, Мавруша!..

— Чево вы тут?..

— Да вот мы с Карповной беседуем... Карповна спрашивает: чево это Мавруша не едет?.. А я и говорю ей: куда ж спешить-то... А Карповна говорит, чай, за жениха пора... Ты и легка на помине...

— Здравствуй, бабушка Карповна!

— Здорово!.. На побывку приехала?

— Да, в отпуск...

— Отдохни... Отдохни... Может, и жениха сыщешь...

— Ну, скажешь еще!..

— Такой крале да жених не найдется...

Бабка Ульяна через руку отплюнулась: «сглазить хочет, ведьма»...

— Пойдем, Мавруша, в избу.

Пошли.

За спиной Мавруши одна прутом, другая сковородником погрозилась, друг дружке прошипели:

— Ужо тебе!..

— Тьфу!

Плюнули, скрылись в сенях.

---

Жизнь в Заволипье, как родниковая водица — бежит и не замутится.

Ну, если иной раз и всколыхнется: Акулина по деревне проверещит, или у Феклы над глазом фонарь засинеет... Так что же тут предосудительного, — ведь, Петруха Фекле не сума переметная, — законный муж...

Всколыхнется и опять в русло войдет.

Русло еще стариками проторено: бабам — печка, мужикам — сходка.

Мужик — вольный казак, ребята у него на подоле не виснут, опять же ему и матерное слово к лицу.

Сходка без матерного слова — щи без соли.

Принесла нелегкая Маврушку, и пошло, и пошло... Что ни день — бабья сходка.

Где это видано, где это слыхано было, чтобы бабы да бабьи дела на сходке решали!

Сначала мужики пересмеивались:

— Вон, наши дурехи разум разыскивают!

Потом спохватились: дело не хвали — выходит, — бабы отлягиваться стали.

Бабе слово, а она тебе резоны:

— Женщина слободной гражданкой стала!

— Это ты-то гражданка!.. Взгляни-ка на свое рыло-то, какая ты гражданка!..

— Вот тебе и какая! .

Сразу видно, чужие слова сорокой стрекочет... Чай, все Маврушкины супротив мужиков подвохи, — нахваталась в городе всякой всячины, теперь бабам нашим головы забивает...

Петруха было «гражданку» и за волос длинный...

Что тут поднялось, господи твоя воля! . Заверещала Фекла, — бабы со всей деревни с ухватами да сковородниками, и на Петруху.

Бабы, что овцы: всегда скопом.

Что Петрухе сковородник, что ему ухват — плюнуть, да Маврушкино слово огорошило:

— Не имеешь права!

— Свою-то жену не смею?!

— Не смеешь!

— Ох ты! ..

Да было и за Феклу...

А Маврушка:

— Иди, Фекла, в волисполком за разводом!

У Петрухи кулаки мягче ваты стали: что как в самом деле Фекла в совет пойдет, — сраму не оберешься, тогда каждый сопляк глаз уколет.

Терпелива Фекла, терпелива — слов нет, да ведь и канаты рвутся...

Петруха на церковный крест:

— Провалиться мне на этом месте, коли трону когда...

Мужики руками развели:

— Уж коли Петруху к стенке приперли... Нам и шебаршить нечего! ..

---

Сорока — бабья вестница.

Сорока на осине, бабы у колодца стрекочут.

Прежде у колодца косточки перемывали, — посудачат, посудачат, и ладно: нам ни жарко ни холодно, а теперь только и послышишь:

...— В Англии на женском съезде...

Должно-быть, сорока заморская им настрекотала.

Поймать бы эту сороку... Да наломать бы ей хвост!

Дальше-больше — выходит, мужиков и совсем к ногтю.

До того дошло, — матерным словом душу отвести не дадут, пустишь по привычке: туды твою...

Бабы прямо заграют и заграют... Плюнешь да от греха и отойдешь. До чего дожили. Э-эх!..

А хозяйству какой урон.

Сумерки в избу — бабы из избы, и пойдет по улице шушуканье:

— К Маврушке на собрание...

Вот оно где сорочье гнездо!

Ладно.

Кто кликнул кого, кто — по народу глядя, — собрались мужики по бабьему следу к избе бабки Ульяны.

Вошли честь-честью.

— Здорово!

Бабы этак исподлобья — сычом.

А баб, баб, что зерен в огурце. Около Маврушки сгрудились.

Маврушка газетой бабам головы морочит.

— Эх, кабы газету на закурку!

Присели на лавку, махрой зачадили, — слушаем, а Маврушка бабам, как и путным:

«...рабское положение женщины раскрепощено советской властью...».

Гордей Иваныч не вытерпел:

— Ого! О бабах в газетах писать стали!

Мужики раскатились: ха-ха-ха.

— Чудеса в решете!

Бабы зашипели:

— Прогоните мужиков... Им только махру жрать, да охальничать.

Да такой гвалт подняли, словно грачи на ночлеге.

Мы было...

Уж больно на сердце накипело... Гордей Иваныч от греха удержал:

— Пойдем, мужики, ребят качать да хлебы печь... Бабы верховодить стали!..

Кулаки разжались.

Хлопнули дверью:

— Царствуй, бабья Расея!

На сердце камень: бабам почет, а мы, словно жиганы какие.

Ужин — баб нет.

Баба в дому — пятый угол, хоть и говорят, что изба на четырех углах стоит, — нет, без пятого угла не простояла бы.

Полночь — баб нет.

Ребята обмарались, скотина голодная ревмя-ревет.

С первыми петухами слышим под окнами: гыр, гыр... Бабы по домам расходятся.

Глянешь с печи — свою бабу не узнаешь, ровно змея из старой кожи вылезла.

Рожа — солнышком в пасхально утро играет.

— Ты чего это, похабница, делаешь?.. Муж без ужина, ребята, скотина...

А она этаким фертом — руки в бока:

— Почему я должна все делать?.. А ты не пошевелишься?

— Дурья голова, чай, по хозяйству — бабье дело.

— Бабье! Небось, и у тебя руки-ноги не отвалились бы, чем на печи лежать...

Вот и поговори с ней.

---

Если воз с горы раскатится, — держись.

Так раскатились бабы...

Уж мы про газеты и думушки в голове не держим: читайте, шут с вами...

И до чего докатились...

Вычитали в газете, что бабы должны начать борьбу с самогоном.

Ох, зависть-то людская!

Ну, чего им нужно, — не они пьют... Нет, суют нос, где их не спрашивают... Настращали в газете баб и болезнями всякими и ребятами уродами, и будто самогонка виной всему.

Уж этого бы писаку — за язык длинный:

— Не мути народ!

Какую штуку бабы выкинули...

Ильин день в Заволипье — престольный праздник.

Бабы принялись за уборку, мужики за самогон.

Что же за праздник без самогона.

Наварили — хоть топись, коли жизнь надоела.

С колокольни первый удар, мужики бороды расчесали, головы примаслили, праздничными рубахами в церковь зашуршали.

Бабам не до церкви — стряпни по горло.

Из года в год праздник справляется молебном среди деревни. Не отстали и в этом году: тронулись из церкви с крестным ходом, около пруда остановились, завел отец Федот тропарь праздничный.

Баб на молебне — ни души.

Молятся мужики, усердно молятся, молятся со вздохом, иной и в затылке почешет: о грехах ли, о самогоне ли вспомянет...

Прошелестел по ветлам ветерок, по воде рябью проплясал, из пруда потянуло...

Мужики носом к пруду повели, у кого ноздри, словно у лошади на овес, раздулись.

Запах знакомый...

Петруха к пруду припал: заморился. За ним и другие мужики кверху жошком:

— Ух, жара какая!

Отец Федот косится, но свое тянет:

«...владычице, помози...».

Петруха по лбу хлоп:

— Мужики! Ведь, бабы наш самогон в пруд вылили.

— Ах, они!..

И только крылья поддевок замелькали.

У пруда: отец Федот, дьячок да иконы на скамейках сиротливо к ветлам прислонились.

Оборвал отец Федот молебен: не для себя же петь, — к пруду водичкой освежиться. Дьячок уже локал.

Мужики с пустой посудой из-под самогонки к избе бабки Ульяны катят.

Бабы — скорее дверь на крючок, — в избе затаились. Которые похрабрее в окошко выглянуть осмелятся.

Вокруг избы тын кулаков поднялся, кто зубами скрежещет. Петруха по самогону, словно по покойнику, причитает.

— Пого-одите!

Погрозились, погрозились, посуду самогонную о дверь переколотили, ушли.

Без топки в печи жару не бывает, без самогонки сердце не горит — остыло.

— Митюшка, кличь мать.

Митюшка на рысях.

— Тятька, мамка нейдет... Говорит — драться будешь.

— Сказал не буду!

— Врешь?

— Вот те Христос!

Митюшка — фьють.

Пришла Фекла.

Загорелось. Погасло.

— Сватушка, покушай... Чаек морковный!.. А на самогоночке не обессудь...

---

...Кажись от Евы еще бабий соблазн ведется...

Насчет соблазна бабы мастера!

Соблазнили и мужиков: чуть передышка — праздник или ненастье, — скорее и нос в газету.

На сходку придешь — глаза бы не глядели. Ты о деле:

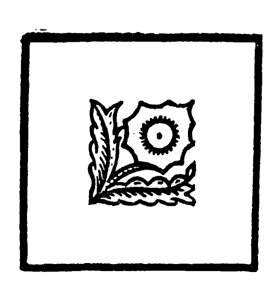
— Прясло, мол, в аржаном лошади уронили.

А тебе — о политике.

Скажи на милость, какая это зараза газета!

---

# БЕЗБОЖНИЦА



БОЖЕСТВЕННЫЙ СТАРЕЦ Лука Кузьмич: без божьего благословения и до ветру не сходит, но до бабушки Секлетиньи ему далеко.

Деле-еко.

У бабушки в избушке, куда ни повернись, всюду глазами на иконы наткнешься.

Каждой иконе свое место отведено: в красном углу Спас руку поднял, по сторонам святые перстами грозятся:

— Смотри, Секлетинья, не греши!

Ну как после этого бога не бояться.

Боится бабушка бога — ох, как боится.

Забоишься, коли послушаешь батюшку в церкви, как начнет муки адовы перебирать.

Что ни мука, — в дрожь кидает.

Страшны муки, — да хоть бы только на том свете, а то и на этом черти покою не дают.

Черти привязчивее татарина-шурумбурумщика.

На людях еще туда-сюда, терпимо, все-таки опаску держат, но чуть стены избушки потонут в темноте, и пойдут разные штуки выделывать: то в дверь когтями заскребут, то на чердаке горшками швыряться начнут.

Ни жива, ни мертва лежит бабушка на печи, лежит да губами «свят-свят» от страху еле-еле шевелит, перетомится, так на «свят-святе» и заснет.

Вся беда в том, что одна одинешенька в избушке бабушка корпит.

Из всех сродственников только и осталась в живых одна внучка Фроська.

Фроська на фабрике в городе живет, в кои-то веки в деревню заглянет.

И так черти доконали бабушку, что дальше совсем невмоготу стало: Фроське письмом пожаловалась.

А Фроська — бух: «Видно тебе делать нечего, что разные страхи себе выдумываешь».

Покачала, покачала бабушка головой.

— Бог с тобой.

На святках прикатила Фроська на побывку.

Бабушка только и вздохнула вольготно.

Ночью стукнется где, бабушка с печи: «свят-свят» .. Фроська с полатей: «ха-ха» . . .

Бабушка не вытерпит.

— Фроська, мотри, бог-от тебя пукнет за это. Право слово, пукнет . . .

Фроська заливается.

А когда передышится:

— Никакого бога и нет.

Бабушка не знает, ни не расслышала, ни прислышалось.

— Чево-о?

— Бога, говорю, нет.

— То-ись, как это нет?

— Так и нет.

— А на иконе кто писан?

— Выдумки.

— А бесы?

— И чертей нет.

— Ой ли?!.

Да как примется Фроська бабушкину веру наизнанку выворачивать и так вывернет, что от веры и подкладочки не останется.

Слушала, слушала бабушка — верить не верит, да больно складно Фроська врет. Иной раз в голове и мелькнет, а что, как если Фроська не врет?

Бабушка спешит бесовские мысли из головы вымести.

А Фроська журчит и журчит.

Бабушка уже храпит.

---

В праздник поднялась бабушка еще до света, чтобы до обедни с делами управиться.

Не успела корову подоить, как уже с колокольни: бам-бам — к обедне.

Бабушка засуетилась: видно отец Федот спешку нагоняет, он всегда обедню на рысях гонит.

Она в избу с подойником, — на колокольне: тр... трр... — трезвон к началу.

Фроська на полатях посапывает.

— Фроська... Фроська... будет дрыхнуть. Шла бы в церковь.

— Спать хочется.

— Ну, процеди молоко... Я пойду...

— Ладно.

— Мотри, покрой... Кошка не сблудила бы...

Пока бабушка сряжалась, пока шла, пришла в церковь, отец Федот уже молебен отбарабанивает.

Всего только и успела бабушка креста два положить и домой вместе с народом поплелась.

Вошла в избу, перекрестилась, — первое слово:

— Бог милости прислал.

Второе:

— Процедила молоко-то?

— Процедила.

Глянула бабушка на кринки, глянула по стенам, — так и ахнула.

— Фроська, бестыжие твои бельмы!.. Ты что же это иконами кринки покрыла?..

— А чево ж им зря стоять.

Бабушку оторопь взяла.

— Поразит тебя господь за богохульство!

— Если бы существовал, понятно не стерпел.

— Эх, Фроська... Фроська...

Сдунула бабушка пыль с Николы-угодника, стерла молоко с уст Спаса и поставила каждого на свое место: Спаса — в красный угол, Николу — под матицей.

Окинула глазом иконы, — показалось: не персты благословляющие — кулаки сжатые.

Бабушка молиться, бабушка креститься, а Фроська хохотать.

Нахохоталась Фроська, на улицу ушла.

А бабушка все молится.

Помолится, на иконы взглянет:

— Не сердятся?

— Сердятся.

И опять за молитву.

От поклонов спина ноет, от крестов руки затекли, от молитв губы еле-еле шевелятся.

И только когда увидала опять благословляющие персты, кончила молиться.

Мало зернышко яблонное, да велико вырастает из зернышка дерево.

Заронила Фроська в душу бабушки зернышко сомнения, и все-то зернышко не больше маковинки.

Да пустило зернышко росточек, из росточка веточку из веточки и выросло раздумье:

— Не на зря ли молитвенную страду несу?

Гонит бабушка мысли лукавые из головы, а мысли, словно мухи надоедливые, жужжат и жужжат.

— Што, как Фроська правду говорит: почему господь богохульство терпит?

И сбилась бабушка с дороги, верой веками протоpенной, да в такой бурелом затесалась. Она норовит думы свернуть на «бог есть», а поперек пути становится Фроськино: «бога нет».

Легко слово, из уст выпущенное, да тяжело слово, когда думой в голове лежит.

Думала, думала бабушка, по всем святым умом раскидывала и до того додумалась, что жизни своей не рада стала.

Наконец, совсем отчаялась.

— Дай-кось сама испытаю, есть бог или нет.

Улучшила минуту без Фроськи, помолилась, да как харкнет в лик Спаса.

Харкнула, от страху на пол присела, — отнялись ноженки, глаза рукой закрыла — ждет, вот-то грянет гром, богохульницу поразит.

Слыхала она, не раз слыхала — слыхала и в церкви в поучениях, слыхала и от людей грамотных чтение из Миней: пожирает господь еретиков огнем небесным.

Пускай пожрет и ее, уж лучше мука-мученическая в аду, нежели мука душевная на земле.

Слушает бабушка гром и не слышит, — слышит, как сверчок за печкой на струне наигрывает; смотрит из-под

руки на молнию, и не видит, — видит, солнце зайчиками по полу разлеглось.

Подождала, подождала, приподнялась с полу, на Спаса глянуть осмелилась: на щеке Спаса все еще плевок расплывается.

Схватила она горсть волос из-под повойника и зарыдала.

— Господи-Сусе... Что же я, окаянная, наделала!

Вытерла Спасу лик, сама на колени, и ну поклоны отбивать.

Бухает поклон за поклоном, даже сверчок затих — заслушался, а на душе опять винтит:

— Кабы бог был, нешто стерпел бы...

И опять бабушка бога пытать.

Сняла Спаса с божницы, квашенник с полки достала...

И у Спаса вместо глаз белые пятна.

Ну, теперь, думает, не вытерпит — скажется.

И... только голос сверчка.

Бабушка осмелела:

— Воно что...

Да и соскребла весь лик с доски; за ним и за других святых принялась.

Вошла Фроська в избу, оглянулась — не в чужую ли попала: голые стены, на столе ворох досок.

— Бабушка!..

Собрала бабушка доски, кинула под шесток.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Божественный старец Лука Кузьмич, а бабушка Секлетинья...

Безбожница!

---

# ЖИТИЕ ФЕДОСЬЕВНЫ

ДАВНЫМ - ДАВНО живет Федосьевна в Косом переулке. Когда переехала, дом был на углу, а теперь, почесть, на самой середке.

Знают Федосьевну не только жильцы однодомные с ней, знает весь переулок, — нужный человек Федосьевна: постирушку ли кому, полам ли чистоту нагнать кто захотел, — сейчас и Федосьевну кличут. В стирке лютее Федосьевны с огнем ищи, не сыщешь: не одну прачку, что одну — и пяток за пояс заткнет. Про поломоек и совсем молчу. Федосьевна не столько моет — сколько ногтем скребет: наши полы не паркеты лощенные—без ногтя и не возмешь.

После Федосьевны не пол — стеклышко языком вылизанное.

Кормится Федосьевна хоть с грехом пополам, все же кормится — руку на паперти не протягивает.

Одна радость у Федосьевны, — если копейку-другую из своих доходов-приходов урвет, — скорее не допьет, не доест, а свечечку перед кануном праздника затеплит,—хочется у господа в раю местечко откупить, а то маялась, маялась на земле всю свою жизнь, да и на том еще свете маяться.

Знает Федосьевна, хорошо знает, что за богом молитва да копейка жертвенная не пропадет... А все-

таки за господом счет ведет, не из сомненья — избави бог, — для памяти: ведь, у господа-то не одна она, — эва, сколько народищу, где же за каждым доглядеть, каждого припомнить. На ангелов надежда плоха — постоянно в лёте, потому-то Федосьевна каждую спаленную свечечку биркой в своем уголку отмечает.

Много бирок за господом, — почитай, вся стенка над койкой палочками пестрит... Много грехов похерено.

---

Жила Федосьевна, была Федосьевна, — дожилась, стала не Федосьевной, а номер: если по соли кличут: «765», по вобле — «843», по хлебу — «924». Уж времена такие, как Иван-богослов, батюшка, в книге апостольской расписал, пришли: переклеймили всех людей антихристовыми печатями по категориям. В домовую книгу Федосьевна в графу «нетрудоспособный элемент» занесена и к четвертой категории причислена. Для четвертой категории хлеба полагается не для вкуса, а для нюха: восьмушка на неделю.

И туго же пришлось Федосьевне, о-ох, как туго: целый-то день-деньской от распределителя к распределителю мечется. Заномеруется, а память старческая какая, — где свой номер упомнить...

Стоит, стоит в очереди, дойдет до получки, из очереди и вон: чужой номер заняла, — и пойдет Федосьевна со слезами вместо хлеба, — разве теперь слезой кого проймешь: у всех не сердце, а камень в груди! Кой-то когда счастье привалит: восьмушки две-три враз получит, уж и радости тогда... Жует, — кажется, не хлеб, а мед. Спасибо и на том, как ни плохо, да кормят, не то надевай рубаху смертельную, да ложись под образа. Совсем бы пропадать пришлось: ни на по-

стирушку, ни на поломойку никто не зовет: кто теперь за чистотой гонится. Если водицы на свой портрет плеснет и-и как хорошо, а если еще с мылом, так кум королю. Плохо Федосьевне, плохо, хоть бы господь-батюшка скорее к себе прибрал.

---

Человек нутром живет: если сегодня в брюхе пусто, завтра ветер свищет, — явное дело, долго не пролипишь.

Липела, липела Федосьевна, да и с копылков долой, растянулась на койке ни жива, ни мертва.

И вдруг чует она — летит, да так летит, инда звездочки по сторонам бисером сыплются, да ветер лицо холодом режет.

А куда летит — еще бы Федосьевне не знать: летит на поклон к господу, — не близок путь: надо шесть небес миновать и на седьмом пред престолом господним коленопреклониться.

Совсем закоченела Федосьевна — ледышка холодная. Не лететь нельзя — воля не своя: спеленал ангел-хранитель душу, словно ребенка малого, и на крыльях мчит. Облака будто погуще пошли, вроде киселя, потом и ногой ступить стало можно. Глядь, место людное. Ангел-хранитель распеленал душу и на волю выпустил. Федосьевна к народу: на людях, как говорится, и смерть красна. А холод донимает — брр... Пригляделась к народу — море и море волнистое. Кто скоком, кто плясом норовит себе теплоту нагнать. Известно, какая на том свет одежонка: рубаха да саван. Только мужичонка один,—кличут Кондратом,— ровно не на небе — на печи лежит: опился самогоном,— схоронили для позора в чем смерть застала — в шубенке, ему теперь и ладно. А вон барышня в ки-

сее, на что только похожа, — точно удавленник посинела.

Мать-пресвятая, да ведь барышня-то никак знакомая, — генеральшина дочка, что от трудовой повинности укусом избавилась... Она и есть. Ай-ай, какая стала: а когда в гробу лежала — картинка и картинка писаная... Батюшки!.. Тит Кузмич, лавочник, который по весне с собой порешил, как лавку с товаром опечатали. Признал и он.

— Ты что, Федосьевна, на постирушку, что ли, сюда перебралась? Али на земле и стирать нечего стало?

— Такая жизнь наступила... денно и нощно только суда господня и ждут.

— Так, так, а кто мою лавку занял?

— Кажись, 45-й или 54-й распределитель, хорошенько не припомню.

— Все еще распределяют. Ох, как вспомню про свою лавку.. сердце так и захолонет... Думаю, за мои страданья господь раем благословит.

Ангел крыльями просвистел. Федосьевна признала, — который ее душеньку нес. Тит Кузмич вдогонку:

— Ваше архангельство, по двести даю... Двести пятьдесят... Триста... Дороже никто не даст... Эй!.. Ну, лети, лети...

— Это ты чево, Тит Кузмич?

— Так, промышляем малость, бирки спасенные скупаем... Небось, у тебя лишние есть, — какие твои грехи... Уступи!

— Нет, Тит Кузмич, не продажные... Шестьдесят годов с годами грешила, да и грехам не быть...

— Кто к господу? Запишись на очередь. Запишись.

Весь народ на голос подался. Побрела и Федосьевна.

— И тут очередь.

Смотрит, — народ у ворот сгрудился. А ворота точь-в-точь в церкви двери царские, золотом блещут и надпись на них:

«Лицам, не принадлежащим к райскому сословию, вход строго воспрещен»... А за выступом другая надпись: «останавливаться строго воспрещается».

В воротах сам Петр, — еще бы Федосьевне Петра не узнать, когда, что ни церковь, то с иконы лысиной блестит, да и ключ в руках, — только здесь таким комиссаром выглядит.

— Записывайся, праведники!

Подходят. Петр на саване номер ставит. Федосьевне поставил «167.845.267».

Голоса вокруг шумят:

— Долго нас морозить станут?

— На сегодня господь только десять праведников к приему назначил.

— А почему дров не выдают? Вишь в раскладке по полену на человека полагается, а мы другой день ни щепочки не получаем.

— Топливный кризис, праведники, топливный кризис. Черти все лесные заготовки перехватили. Потерпите. На земле всю жизнь терпели, а здесь, можно сказать, у самых ворот рая не хотите потерпеть. В писании сказано: за каждый вершок терпения в раю верстой отмерится.

— Пой Лазаря-то... А почему вчера столько возов с дровами к чертям от раю проехало? Ухнули казенные дрова, можно теперь вам петь. На землю бы вас послать, так показали бы вам кузькину мать. Э-эх, и порядочек же у вас. Рабкрин бы на вас наслать.

— Кто это там гордыней грешит? Ага-а, номер «986.754»... Хорошо-с. Эй, херувим, слетай-ка за Михайлом!

Михаил архангел райчекой заведывал.

Летит Михаил Архангел — по крыльям ангельский лик, по хватке — заградиловец: ка-ак сгребет раба божьего, — куда пух, куда перья. Федосьевна охнуть не успела, как человека того уже за решоткой черти дерут. А сказывали, тому человеку из-за расстрела венец мученический ковался.

Заскребло у Федосьевны на сердце,—крутенько, крутенько с нами многогрешными в раю расправляются, слова супротивного сказать нельзя, куда строже, чем на земле. Строги большевики, а как их в очередях калят — и ничего, сходит. А все говорят: милость господня.

— Ты чего, Федосьевна, грешишь?

— Да вот, Тит Кузмич, нащот раю сумленье напало.

— Ой, смотри, здесь строго... видела, как расправляются?!

---

Сколько веревочка ни вьется, а концу не миновать. Мерзла, мерзла Федосьевна, долго ли, мало ли — не нам знать — только и до рая домерзлась, — кличут: «номер 167.842.267, выходи». Где бы Федосьевне свой номер припомнить, да люди толкнули: не задерживай. Распахнулись перед ней ворота райские. В воротах ангел карманы обшарил, — нет ли чего греховного там.

А за воротами: господи ты боже мой, все, как есть, что на паперти церковной у Федора что на куличках расписано, — там и деревья с яблоками золотыми, там и

птицы Сирин и Алконост... Только на паперти не было ярлыков: «ломать деревья, рвать яблоки, дразнить птиц строго воспрещается. Виновные будут привлекаться по райским законам»... Райские законы всем известны: за вороток и на холодок, потому и охотников до райских яблок маловато.

Ведут Федосьевну дорогами широкими, ведут и тропками узкими: на пути то дерево с веткой по лицу хвостнет, то яблоко по затылку пукнет, яблоки нога давит, а съесть не дают. Хотела было она паданец поднять, так куда тебе — целый сыр-бор загорелся: ангелы — провожатые таких толчков надавали, — и посейчас спина к непогоде ноет.

Ладно, приводят Федосьевну к престолу господню. Престол господень стоит на солнышке, пред престолом на коромысле месяца весы висят, чтобы, значит, грех со спасеньем прикинуть. Какая чашка перетянет, — такая и судьба будет: кому блаженство в раю, кому мука-мученическая в аду.

Смахнула Федосьевна с чашки крошки чужих грехов: и песчинка в ад потянуть может.

Ангелы высыпали в чашку грехи Федосьевны — чашка выше месяца взлетела. На другую чашку бросили горсть-другую бирок со спасеньем, — чашка дрогнула, но не подалась, подкинула довесок от какой-то молитвы — не тянет. Ангел от весов кричит: «семь с половиной фунтов грехов не замолено». Господь с престола: «варить ее два года в котле со смолой». Ангел было и грехи, и бирки с весов долой, — «подходи следующий». Прикинула Федосьевна на-глаз бирки: как-будто бы не все. Нет, говорит, обожди, это тебе сказать легко, а каково мне в котле кипеть. Дай-ка бирки, сама прикину. Где бирка мученикам Гурью, Симону,

Авилу? — коли зубы болели, свечечку поставила, а где Варваре-великомученице, а где... И пошла палец за пальцем загибать: то на мученика, то на пророка, то на преподобного... Четыре раза обе руки обошла. Ангелы рыло в стороны воротят,—видать, что рыльце в пушку.

Господь как на престоле привскочил, да как загремит, загремит:

— Что у меня ангелы, жулики, что ли?..

Федосьевну не запужаешь,—чай, не на чужое добро накинулась, за свое стоит.

— Жулики не жулики, а мошенства много.

Что тут только поднялось — господи, твоя воля: деревья до земли пригнулись, вся яблоки осыпали. Сирин-птица, Алконост-птица голову под крыло запрятали, святые ничком распростерлись, а Федосьевна стоит, словно и не ее дело касается.

Гремел, гремел господь, нагремелся и говорит:

— Ой, вы, мои верные ангелы, херувимы, серафимы, апостолы, пророки и мученики, и все рабы господни, скажите, какой лютой казни нечестивицу предать?

Апостолы заевангельствовали, пророки запророчествовали, а херувимы — на ушко. И посыпалось со всех сторон:

— Зацепить нечестивым языком за крюк. — Мало. — За ребро. — Мало. Содрать кожу. — Мало.

У Федосьевны начали поджилки вздрагивать — дело не хвали, — в любой церкви расписано, какие муки на том свете бывают.

Святые — кто бороду жует, кто — перст в носу: всякому хочется господу усердие показать — муку страшнее других придумать.

Вдруг в толпе — дуб в мелколесье — Асаф Белгородский, куделей бороды взметнул.

— Господи, повели слово вымолвить.

— Говори.

— Господи, нет горше муки сейчас на земле. Повели нечестивую отправить обратно на землю. На земле наши мощи честные из рак повыкиданы, чудотворные иконы поруганы.

— Правдива твоя речь! Михайла, исполни волю господню!

Глазом моргнуть Федосьевна не успела — чует, книзу летит.

. . . . . . . . . . . . . . . .

— Эй, Федосьевна, бредишь, что ли?

Протерла Федосьевна зенки, — глядь, Митревна — соседка по койке — тормошит.

— Какоё спала?

Встала Федосьевна, головой покачала, тряпку намочила, да все бирки со стены и долой: с господом счеты-расчеты покончила.

— А мы думали и не встанешь больше. Пока ты хворала, опять по-старому перевернулось. В булочной что твоей душеньке угодно.

---

# СКАЗКИ

# ЕФРЕЙТОР В РАЮ

СТОИТ ПРЕСТОЛ господа-Саваофа на облаках, над ним: в высь— лазурь, подножие — солнце.

И сидит господь во славе своей.

А вокруг-то, господи ты боже мой!.. такая благодать, такое великолепие. Куда ни глянь: всюду изумрагд-камень, яхонт-камень — радугой играют, переливаются. Птица-Сирин сладкогласная распевает и вторит ей другая райская птица — Алконост. Там Давыд-царь на гуслях псалмами господа славословит, там и Петр-кремень — ключарь рая, там и грозный Илья — колесницу смазывает, там Иван — златые уста с Николой, — милостью богатым, беседу сладкую ведет: журчит речь его ручейком, шум моря в прибое — ответное слово Николы.

Мужичий святой — мужичья и речь.

Там жены и девы блистают непорочной чистотой.

Реют шестикрылые Серафимы — очи господни, восьмикрылые Херувимы — уши господни, и доносят господу о делах по образу и подобию его: человеке.

— На земле творятся лиходейства великие — человек губит человека.

Поник главой господь, думает думу вечную.

Померкло солнце, и затихла сладкогласная птица Сирин и не вторит ей райская птица Алконост, лишь Серафимы — очи господни, Херувимы — уши господни, ластятся к господу.

— Сыне возлюбленный, — молвил господь-Саваоф сыну Исусу, — не ждет ли жатва серпа... Не приспело ли время суд-расправу творить... огнем-молнией пожрать непотребный род людской...

Молчит сын, покорен отцу, но рвется, терзается сердце его, — болеет он за человека.

Распростерлись праведники ниц пред господом, воскликнув громко:

— Праведен ты еси, господи, праведны дела твои...

Молчит сын, покорен отцу.

— Нет любви моей к человеку, нет и пощады, — гневнулся господь-Саваоф.

Прокатился тот гнев громом по поднебесью, заблистал огнем-молнией над порочной землей и замер — затих: заглушился пушечными выстрелами, — человек стал равен богу.

---

На земле льется кровь нужная и ненужная, праведная и грешная, старческая и детская. Душу за душой вереницей несут ангелы на небо и кладут к ногам господним.

Тверд русский солдат, а ефрейтор и подавно крепок, — не даром лычку нашили. Болестью он не берется, в огне — не горит и в воде — не тонет... одна лишь шальная пуля берет.

И сразила ефрейтора пуля басурманская. Ангел часом подвернулся, душу живо хвать, просто ногой дрыгнуть не успел, как очутился пред престолом господним.

Очухался, оглянулся — место незнакомое, но не расфедотился: не даром год в учебке тянули — образовался, не новобранец какой, и ступить может по-строевому, и ответ может держать по-уставному.

В миг — руки по-швам, грудью вперед, каблуки вместе, носки врозь.

— Честь имею явиться ваше... пр-ство!..

Голос — труба иерихонская, глазищами господа слопать готов.

Смотрит господь: эко диво... Трепещут святые, ручки сложивши на груди.

Непривычна в раю смелая речь: все рабы господни!..

Кликнул господь Петра-ключаря:

— Пристрой-ка, мол, в уготованное место... Небось, тоже за веру православную живот положил...

— Пойдем-ка, служивый, — поманил Петр.

Повернулся ефрейтор по-ученому: через левое плечо, на левом каблуке, на правом носке, этак лихо, со щелком, — раз-два, и с левой — шагом марш. Такт так и выбивает: раз-два, раз-два, рукой вперед до бляхи, назад до отказа отмахивает. Облака под ним ходуном так и ходят: ногу дает правильно...

Идет Петр, идет за ним и ефрейтор.

Спросил Петра не из любопытства, а из военной вежливости:

— Вы не из фельдфебелей будете?..

Молчит — недоумевает Петр.

— Ну, а как у вас тут насчет службы... наряды в караул часто бывают?..

Молчит — недоумевает Петр.

— А начальство справедливо ли у вас?..

Понял Петр, заговорил, — разбередил ефрейтор больное место.

— Какая справедливость!.. Это только на земле думают, что в раю живут по-райски... Всяк только и норовит лишь пред господом поюлить, а от дела отлынивает... Давыд-царь—гуслярит, Иван-Златоуст— разговоры разговаривает, Касьян — форсит... вишь ты, работать, так он ризу белоснежную запачкает... Только на Илье, Николе, да мне и весь рай держится... Хоть бы, к примеру, взять меня: всю свою райскую жисть ворота отпираю да запираю, можно сказать, ночей — не досыпаю, пью — не допиваю, ем — не доедаю... Годы, ведь, мои не молодые... Сколько раз просился в отставку, не пускают... Бают — заменить некем — доверить, вишь, никому нельзя... В рай пускать, да пускать с оглядкой нужно... как раз такого гуся впустишь, что сразу заорет: «долой бога», были у нас такие и из своих: один из них Люцифером прозывался... Жить бы ему, жить, да бога благодарить. Не-ет, мало ему стало, возгордился, сам богом захотел быть... Господь так с ним расправился, что и посейчас мается, да адскую жисть клянет. Никак в ворота стучат... Иду... Иду... Надоели!.. Эх, ма...— смахнул Петр непрошенную слезу — обиду, махнул рукой и засеменил к воротам.

Остался ефрейтор один, посидел, выкурил осторожно из рукава рожок махорочки, — не ровен час, еще начальство какое набредет: не было команды оправиться, закурить.

Бродит ефрейтор по раю день-два, а может-быть, и полтора. Смотрит и диву дается: столько всюду добра казенного — и золото, и каменья самоцветные, а все без призору, — нет ни караула, ни дежурного, ни дневального. Народ постоянно зрячий болтается, долго ли до греха, — стянет кто, а ты отвечай. Почему

по службе не радел... И решил ефрейтор, пока-коли что, стать хоть дневальным до смены. Оправился, обдернулся, ремень затянул, — палец не подпустишь, бляху рукавом смахнул, — горит.

Похаживает и порядок блюдет: соринка где на глаза подвернется, приберет. В послеобеденный час святые запели — хотели господа пославословить, — ефрейтор тут как тут: не полагается петь во время отдыха, — замолкли.

Прогуливается господь по раю. Ходит и думу вечную думает. Ефрейтор с рапортом подлетел — за четыре шага под козырек, в двух стал — чисто замер, да так отчеканил:

— Вашш... пр-ство, в роте Небесного полка происшествий никаких не случилось!.. — А сам в сторону— скок: дорогу начальству дать. Просто молодец-молодцом.

Углубился господь в думу вечную, — не заметил.

Обидно ефрейторскому сердцу: и здорово — господь не сказал... Да, ведь, начальство судить не приходится.

Дневалит ефрейтор день, два, может и полтора, — смены нет как нет. Он и туда, и сюда торнется, — порядков толком не знает никто. Бросить дежурство, не сдав — опасно: еще, боже упаси, под суд попадешь...

Так и дневалит он...

Теперь, говорят, сменили.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Скучно солдату без службы, а трудовику — без дела, хотя бы и в раю.

---

# СКАЗ О МУЖИКЕ АКИМЕ

## I

ЖИЛ СЕБЕ ДА ЖИЛ мужичок Аким.

Редьку с квасом ел, лучком сдабривал, заедал хлебом с лебедой да с осиновой корой.

Порой и тюрей-мурцовкой брюхо баловал.

Жилиста, прожориста утроба мужицкая: чем не заполняй, все выдержит, только пучит, а лопнуть — не лопнет.

Коль деньга в мошну залучалась, — запивал. Во хмелю песню запевал:

«Эх, живи, не тужи, завей горе веревочкой».

Коль сердит бывал, над женой зло срывал — до синяков избивал.

Летом нудился — трудился, зимой на печи лежал — вошь разводил, ленился.

Ежеутро, ежевечер середь избы становился, на черноликую заступницу глядел: не то, чтобы молился, так себе, по привычке шептал: «Матушка Казанска, Никола Можайский, Илья Пророк и все мученики сорок, сохрани ржицу-посев от града, в хлеву скотинку от дурного глаза. Батюшка домовой, прими поклон мой».

Крестился, кланялся земно, скреб затылок, поясницу, вошь на гашнике ловил: «не вводи во искушение, проклятая тварь».

## II

В праздник, воскресенье, умывался беленько, утирался чистенько ширинкой узорчатой, надевал рубаху кобедешнюю — что заря утренняя, алую, подпоясывался пояском с кисточками, надевал портки пестрые, пестрядевые, лапоточки лыковые с оборочкой новой, мазал голову из лампадки маслом боговым — аж лысина залоснилась, заиграло на ней солнце ясное, чесал, расчесывал он бороду всклокоченную частым гребешком. И шел Аким в церковь божию.

Осенял себя крестным знамением — со лба на пуп, с пупа на плечо: «Сгинь, лукавый, в преисподнюю».

Первый поклон богу — до полу, потом поясным на все четыре стороны, — простите, мол, православные, кто зло мнит.

Отвечали православные по завету христианскому, поклоном чинным, безмолвным:

— Бог тя прости, а мы люди грешные.

Брал он свечку воска желтого, копеечную, и затепливал пред «Всех Скорбящих Радостью».

Что не сорока по березе прыгает — стрекочет, то чтет дьячок, россыпает слова аллилуйные.

И как зверь в глухом бору, рычит дьякон и пакает: «Господу помолимся».

И молятся православные, молятся и паки.

Тяжко живется мужику на земном веку: загнан, забит, — всякая козявка над ним куражится.

На кого ж ему и надеяться, как не на господа. И ждет он отрады и спокою на том свету, в пресветлом раю, куда, сказывают, и мужику доступен путь.

Сизым голубком воркует поп:

— Будь, Аким, тише воды, ниже травы, ибо последний человек ты на земле: смиряйся и терпи. Дано тебе от господа назначение: быть всем слугой. Бога не забывай, царя почитай, церковь даяньем не оставляй, и благо тебе будет, если не на земле, то на небе.

Грешил думой Аким:

«Ишь, ты, порода жеребячья. Свою линию гнет, да что с ним поделаешь, коли он по-печатному чтет»... Печатное слово мужику закон.

Вот, дай срок, поймет печатную грамоту мужик, тряхнет он тогда головой многодумной, поведет плечами могучими, да как на весь мир, во всю ширь гукнет слово новое, слово дивное.

III

У Акима курочка несется, петушок поет, коровушка доится и теленочек мычит.

В мясоед, после поста разговеться пора: маслицем и яичками, а у Акима в брюхе попрежнему тюря с мурцовкой бурлят-ворчат.

Вся снедь успокоилась в брюхе батюшки: обобрал дань в Петровщинку: яички до яичка, сметанку до донышка.

Хлебушко — зернышком с гумна смел Аким в закрома, батюшка тут как тут за новью пришел: осьмину подай.

IV

Так жил Аким и прожил семьдесят лет со днем.

Смерть пришла — помер.

Обмыли, одели, лапти новые надели, глаза пятаками закрыли, повыли, три дня ковригу на столе держали:

кушай, свет Потапыч, в останний раз, — пока душенька круг жилья вьется.

Отдыхает Аким, на столе сосновом лежачи.

Потом зарыли, — и люди забыли.

## V

По горам, по долам, по сыпучим пескам змеится тропочка косогорочка. Одним концом та тропочка, в землю упирается, другим же на верхушке горы кончается, — где солнце на ночлег садится. Там горят огнями переливчатыми, — сияют чертоги райские.

Подале широко пораскинулась свободная к аду дорога, для всех открыта: милости просим.

Хочешь в рай, — терпи.

И ползут души праведные к раю — за острый камень цепляются, горячим песком обжигаются.

Кто вытерпел, до верху добрался, — спасен, коли сорвался — летит в тартарары.

И всяк норовит в рай, да грехи в ад тянут.

Лез-лез Аким — скоро ли, долго ли: износил, изодрал лапотки лыковые, продрал-оборвал портки пестрядевые, поломал коготки корявые, все же до рая добрался.

Известно, что мужик задумает, что зарубит, — гвоздем не вышибешь.

Осмотрелся вокруг да около, видит народищу видимо-невидимо, только гул идет, чисто на базаре.

Кого-кого там нет: и святители с крестителями, и апостолы с евангелистами, и мученики с пророками, и с ними вся прочая небесная сила.

## VI

Потолкался, помялся Аким этак часок, другой, малость пообвыкнул, отважился словцом кой с кем перекинуться, да ответного слова ни от кого не сподобился.

Среди людей хуже, чем в дремучем лесу заблудишься.

Скорбит душа Акима: и райской жизни достиг, только бы жить, да радоваться, ан, чего-то недостает.

Случай такой вышел: старичок подвернулся на других не похож, малость попроще, риза бедная, веревочкой подпоясана, больно на Николу-угодника смахивает.

Аким к нему: так вот и так, мол, попал в место людное, и ни ответа, ни привета ни от кого не получил.

Покачал головой старичок, лысину поскреб и говорит, таково ласково говорит:

— М-да, вашего брата, мужика, здесь не особо жалуют.

— Ах, долгогривый!.. — помянул добрым словом Аким поповых родителей, — какую мороку в глаза пускал: «ты, говорит, там свою мзду получишь»... Вот и получил сайку свайкой.

Рад-радешенек Аким, что доброго человека в раю встретил, просто душу наизнанку выворотил: и про обиду долгую помянул, и про нужду горемычную не забыл, — откуда только слова берутся.

Слушает старичок и вникает.

Народ мимо них так и снует взад-назад, а народ не простой, все святой, придиристый. Отошли в сторону от греха, еще, пожалуй, ни за что, ни про что, облают.

Старичок про житие иных угодников рассказывает, коих в лицо покажет.

— Вот в развалочку-то идет — Марья Египетская: допрежь была блудницей, раскаялась и жизни райской сподобилась.

— А вон, на одну ногу припадает, — Симеон-столпник: ровно тридцать лет и три года одной ногой на столпе простоял.

Старичок куда-то по нужному делу отлучился, — остался Аким один-одинешенек.

Стоит, в носу ковыряет, и думает: «вот она, райская-то жизнь какая». Известно, когда мужик задумается, так в воздухе можно топор вешать.

Пуще прежнего святые зашпыняли мужика, только и шипят: невежа-мужик, и такой, и сякой, знают ли, как назвать, иной и бранным словом обложит, — матершинников и в раю хоть отбавляй.

## VII

Посмотрел, посмотрел Аким, плюнул, махнул рукой, да прямехонько дорогой широкой в ад и зашагал. Хоть страшновато, но делать нечего — один конец.

А черти с почетом встречают:

— Аким Потапыч, милости просим.

Как не радоваться — подмога.

Работы чертям по горло, просто с ног сбились и языки высунули. Легко сказать: кажинный день-деньской тьма-тьмущая грешников с земли прет, ведь, надо каждого пристроить: того на крюк прицепить, да поджарить, другого в котле со смолой проварить. Теплину поддержать — сколько горючего надо привезти.

Дедушка чертов шутить не любит, чуть заметит, где теплина опеплилась, сейчас и хвост прочь. Для черта хвост — первое дело. Черт без хвоста — что царь без короны.

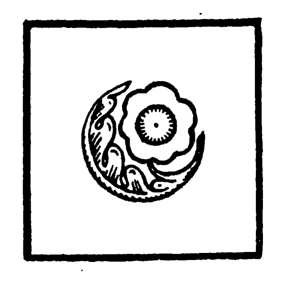
Дали Акиму работу сподручную: на паре архиереев дрова возить. Мужику к работе не привыкать-стать — он и рад, так принялся за дело ретиво: в одну неделю загонял двух архиереев, четырех генералов, а мелкоты и не перечтешь.

С чертями за панибрата: покуривают тайком от дедушки.

Земляков-односельчан встретил, — все при деле: живут, дай бог всякому так жить.

---

# ГОСПОДЬ СПИТ



...ШШ...— НЕСЕТСЯ по раю,— господь спит.

У опочивальни толпа святых: кто с докукой, кто с заступой за кого пришел.

Ведь с земли беспречь скулят:

— Пода-ай, господи...

Точно нищие, прости, господи, велико согрешенье, клянчат. Кажись, всем наказано: на бога надейся, а сам не плошай. Дан тебе разум-разумный, живи, трудись, пользуйся от угодий всяких; коли одному невмоготу, в артель сбейся: огулом работай. Всяк только и норовит, как бы на шею другому сесть, — в карман кому влезть, а господа в помощь зовет:

— Пода-ай, господи...

Застрянет чья-либо молитва в небесной канцелярии, до господа не дойдет, — святым докучает:

— Преподобне отче, Исаакие, мо-оли бога о нас...

— Великомучениче Антипе, мо-оли бога о нас...

Оно, пожалуй, Исаакию с Антипой и лестно, коли к ним кучатся: свечи палят, кадильницей дымят.

Ну, заступщики и толпятся перед опочивальней, чтобы скорее господа перехватить, коли проснется.

Тут и митрофорные, омфорные архиереи в шапках золотых, в ризах парчевых, разных клинушков, образ-

ков на себя понавешали, — я, мол, не таков как прочие, а бла-ародный...

Блестит средь хламид стародавних и воинское убранство.

А вон пещерник Ануфрий так, и в чем мать родила, щеголяет — блажит старик.

Сам господь не раз намекал: ты бы, Ануфрий, хоть бесстыдство рухлядью какой прикрыл... небось, здесь на людях, а не в пещере кротом копаешься... Жен и дев непорочных в соблазн вводишь».

Не подействовало... Где подействовать, коли у Ануфрия от древности в голове мозги, как в грибу-дождевике, пыльцой стали: пшик и нет ничего...

Махнул господь рукой — отрастил ему бороду до пят: ходит — по земле метет, — все же чуть-чуть наготу сокрыл.

В воротах рая шум:

— Никола пришел...

Риза в навозе — вонь.

Голос бубнит: огрубел, с мужиками валандавшись.

— Где тебя, Никола, перепачкаться угораздило?

— Да, вишь, ты, дело такое вышло: вез мужик навоз в поле — землицу-матушку напитать... воз-от возьми, да и запрокинься кверху копылками... Бился, бился бедный мужик и так, и сяк — не тут-то было... И давай с горя-досады чертей матершиной крыть, потом и до святых добрался... Ну, я и подвернулся...

— Чай, смертью поразил богохульника?

— Не... воз поднял...

— О... о!..

Совсем омужичился.

— Господь где?

— ...Шш... Господь спит.

— Все спит, да спит — разбудить надо!.. Дело у меня до него спешное есть.

— Небось, за мужика какого докучиться хочешь?..

— Там жена некая молит: муж при последнем издыханьи... Сама шестера... Прохворал мужик-то, поле незапаханным осталось... Эх, чем жить-то будет... Костлявая уж и косой замахнулась, да я упросил обождать малую толику...

— И охота тебе, Никола, с мужиками вечно канителиться... В раю словно месяц молодой покажешься и опять в тучу скроешься... Неужто на земле привольнее?..

— Не в пример... Злыдни там меньше... Случается иной раз и за бороды потаскаются, бока кому намнут. Придет прощеное воскресенье, — друг дружке в ноги: прости, брат, коли обидел чем... на примиреньи и шкалик пополам раздавят... А здесь злоба веками с уст не сходит...

— Ну, ты не больно... не с мужиками...

— Поду-умаешь...

...Шш... Господь спит...

Идет Илья-Громовик — кнутиком пощелкивает, зарницами поблескивает.

— Господь не проснулся еще?.. Кони дыбятся — не стоят... Вон Захудаловские мужики вторую неделю с крестным ходом в поле молебны служат: дождя просят — зерно перегорело... Начали сохи пропивать, все едино, говорят, с голоду дохнуть придется...

— Осадите, старцы божьи, назад... Осадите... — наводит порядок Михайла-Архангел, — он поставлен сон господень блюсти: вдруг кто за занавеску юркнет, господа потревожит.

— Ишь, какой начальник выискался!

— Что-о?!

Все-таки назад подались: малый — сорви голова — и по бокам забарабанит: от него все может статься.

— Вишь, егорья в войну с Люцифером получил, — ну, и превозносится, — я, дескать, герой...

...Шш... Господь спит.

— Дети мои, любите друг друга, яко же возлюбил вас господь, — провещал мимоходом Иван Богослов.

Шипенье змеиное заструилось:

— Подхалим!..

— Нашел дураков!..

За занавеской зевок:

— И-а... ох... хо-хо...

— Господь проснулся, господь проснулся, — засуетились все.

— Михайлу сюда!.. — прогремел голос.

Вмиг лики облагоговелись: умиленье и радость душевная разлилась.

— Хва-алите имя господне... — запели.

Выходит от господа Михайла-Архангел:

— Вы чего разгалделись! Господь снова опочил — только на другой бок повернулся...

Ворчит Илья-Громовик:

— Захудаловские мужики начали и кресты с иконами пропивать.

Чешет в затылке Никола:

— Помрет у жены мужик-то... сама шестера. Ропот средь святых:

— Что мы, на архирейском служеньи стоим!..

— Осади назад!.. Вас честью просят!..

А святые все прибывают и прибывают: кто с докукой, кто с заступой за кого.

С земли: коптят свечи, чадят кадильницы — до чихоты разбирают и беспречь ноют:

— Пода-ай, господи...

...Шш... Господь спит...

Молитесь, молитесь, православные, за богом молитва не пропадет... а сами сидите, ручки сложивши, и тяните:

— Пода-ай, господи...

И благо вам будет... Бла-аго...

# ГОСПОДЬ В ГОСТЯХ

ПИШЕТ, ПИШЕТ АЛЛАХ турецкий господу Саваофу письмецо-посланьице.

...«Приезжай, побывай ты, господи, ко мне на веселый пир-гуленьице, наварил я для тебя, гостя желанного, пива, меду, браги хмельной — море разливанное, — напою допьяна, киселем с сытой медвяной накормлю доотвала»...

Привез ту грамоту-писульку посланец, как эфиоп, черный: рожа — сапог наваксенный, губы сурминные, бельмы по ложке. Усомнился Петр: не козни ли дьявольские, не бес ли вырядился в шкуру эфиопскую, — не отворял послу ворота райские.

Ждет-пождет посол турецкий год, два, прождал бы целый век, уселся у ворот калачиком и знай свое аллалакает:

— Отопри замки хитроумные, отвори ворота кованные, ты пусти меня, бачка, в обитель райскую, пред очи господни...

Это терпенье-то не русское!..

А черти беспокойные около вьются, хрюкают, свиное ухо кажут.

Уйти нельзя. Ну-ка, вернись ни с чем, — враз секим-башка будет.

Мимоходом Иван Златоуст услыхал лопотанье басурманское, вникал он в шурум-бурум: на то ему и ум дан, — уста златые.

И говорит Петру таковы слова:

— Ой, ты, Петр, голова каменная, какое ты дело учинил несуразное, не опочтил посла турецкого, опозорил, осрамил господа неучтивостью... Из-за твоей бестолковицы война, бой кровавый может выйти. Погибнет, пропадет ни за что, ни про что воинства небесного сила несметная...

Бил он челом послу, перстом касался до земли, улещал речью затейливой, как горная тропка, извилистой.

Скребет лысину Петр.

— Эко затменье нашло...

---

В раю суматоха неугомонная: господь в гости рядится, собирается, чисто невеста к венцу, чтобы не ударить лицом в грязь.

Пытал Иван Богуслов отговаривать:

— Дороги, мол, дальние — через горы непролазные, болота топкие, через реки, мосты трясучие... Годы, ведь, твои нездоровистые... И чего-чего у тебя, господи, нет: журчат реки молочные, расползаются берега кисельные, цветет Ливан-дерево златояблонное... не бывать того у Аллаха во веки веков.

— Как ты смеешь перечить мне, раб нерадивый!..

Прикусил Богуслов палец в устах, затих.

Садился господь в колымагу расписную, — червленным бархатом с позументом златым разукрашенную.

Кучером сажал Илью-Громовика, на запятки — Михайла Архангела — караул-почет держать, Гаврилу Архангела легкокрылого — на посыл с вестью скорой.

Брал Златоуста — речью красной привет-слово сказать.

Глазком, порядок-распорядок блюсти, оставлял Ивана Богуслова.

И выезжал Господь за ворота райские.

Погоняет Илья коней.

— Эй, орели-ки...

Слышь, как по небу колымага грохочет-раскатывается, лишь искры из-под копыт блещут.

Едет-едет господь в гости к Аллаху турецкому.

---

Без хозяйского глазу-призору осиротел рай.

Такая бестолочь, беспорядица пошла.

Магдалина — магдалинится, а Марья египетская и совсем разъегиптилась, а с ними и вся сила небесная загуляла, просто дым коромыслом.

Богуслов было с увещанием: «побойтесь хоть бога, коль ни стыда, ни совести нет... вот ужо господу доложу»...

Так куда тебе, обступили: кто к бороде тянется, иной под нос такую дулю поднес, — не дай бог и злому ворогу, коли угостит... Махнул Богуслов рукой:

— Делайте, что хотите. Вы грешите, вы и в ответе...

До чертей дослышалось, — Михайлы в раю нет, — от радости аж копытцами взлягнули и налетели к раю видимо-невидимо.

Петру надсада. Вдруг в ворота: стук... стук... — спешит душу праведную впустить, отворит, а там черти языки кажут, да такую рожу скорчат, не только крещеного, и нехристя стошнит.

Плюнет Петр, захлопнет калитку, а чертенята хвостиком в подворотню, словно змеи головками повили-

вают. Прищемит Петр ногой, — визжат, а не унимаются.

Совсем запакостили ворота райские. Вот, вот, господь нагрянет — беда...

---

Долго ли, коротко ли путь-дорогу держал господь, приезжает он к Аллаху турецкому.

На подушках шелковых, на коврах узорчатых расселся, развалился Аллах с божками и боженятами.

Вокруг, куда глазом ни кинь, все бабы и бабы, и взглянуть зазорно, как есть голые... Спутники господни по уставу очи клонят от соблазна, а исподтишка, нет-нет, да и глянет кто.

В нашем раю, коли кто праведен, до баб ни-ни, а там праведность бабами мерится: кто праведнее, тому и бабу лишнюю в придачу.

Усаживал Аллах гостей званых за столы дубовые со скатертями пестробранными. От явств столы ломятся, от вин ручьи текут. Наливал браги хмельной ендову целую, потчевал поклонисто.

Гости кобенятся, без упросу-уговору чарки не пригубят, явства не порушат.

Первая прошла колом, вторая — соколом, а третья— язык развязала...

Порасхвастался, разбахвалился Аллах: я-де, своих людишек держу вò как — в страхе! — Ну, и наш не отстает: я, мол, тоже своих не балую.

Пропустили еще по одной.

— Я-то!..

— Меня-то!..

Дальше, больше и дошло дело до спора-рукобитья: испытать, значит, кого народ больше любит да почитает.

Побились о велик заклад — ни мало, ни много: на полрая каждый.

Отдернули с неба занавеску — на землю глядят: там лес ощетинился, поля ковром персидским раскинулись, море — зеркалит, сям избушки, как бы болячки прилепились. На поле вон-вон — клопом чуть маячит мужик.

— Вот, — говорит господь, — поражу у него лошаденку, всю его опору, богачество, и мужик будет меня славословить.

— А ну, ну... — подзуживает Аллах.

— Илья, пущай стрелу!.. — загремел господь.

— Неладное дело ты, господи, удумал: мужик-от, почесть, с первых петухов за пашней корпит, потеет.

— Цыц!.. Не перечить мне...

Берет он у Ильи стрелу громовую и пущает огнем-молнией на землю...

Дрыгнула лошаденка разок-другой ногой и зубы оскалила.

Волком взвыл мужик:

— Господи, господи, за что ты меня наказуешь...

— Вишь, — хвалится господь, — истинный раб мой...

Повертел, повертел лошаденку мужик, и так, и сяк, и этак, и вот так — не встает.

В затылке почесал, поясницу поскреб, — да как почнет поливать господа со всеми святыми словом русским, словно молотом по наковальне бьет.

Таращит глаза господь:

— Чтой-то, он славословит меня?.. Ась, не разберу?..

Ворчит Илья:

— Вольно ж тебе было начинать...

Расчухал господь:

— Илья, рази!.. рази богохульника!..

Плачется бог:

— Нет больше на земле Иова многострадального...

Льются, льются на землю слезы дождем, увлажнилась земля, отучнели хлеба.

Божьи слезы — мужику богатство.

Аллах бороду поглаживает, языком прищелкивает, рад: еще бы, полрая привалило — не фунт изюму.

Черед за ним, — разошелся Аллах:

— Что, — говорит, — один человек, — я тебе на тыще докажу...

И послал на землю мор: что ни день, то сотня бритых башек валится.

Заплакали правоверные:

— Алла... Алла...

Не унимается Аллах.

Посмотрели, посмотрели правоверные, собрались гурьбой, да с мечети месяц на ущербе и долой...

— Что мы, — говорят, — для игры-забавы аллаховой, что ли, живем!..

Опешил Аллах, глазам не верит:

— Магомет мой, верный слуга, что ты видишь, что ты слышишь?..

— Вижу, Алла, с земли тебя гонят. Слышу, долой, орут...

— Этак, пожалуй, и до рая доберутся?..

— И доберутся...

— Скорее запоры на засовы!..

— Выпьем, Алла, с горя...

— Выпьем, господи, за погибель человека!..

---

# КОНЕЦ СВЕТА

I

ПОКА САМ СТАРИК держал весь свет божий в своих руках,—крепко держал.

Всюду свой глаз,—поднимается, ни свет, ни заря, глядь, уж и орудует.

Солнышко во-время умоется, обчистится, — выкатится по-утру, любота, так и сияет.

Месяц тоже не загуляет: средь бела дня не выскочит на небо в белых подштанниках... Попробуй, — он те тогда загонит в тараканью щель.

И дождь не съозорничает: не прольется там, где и без него воды хоть отбавляй, — льет, где злаки голодают.

Всякая тварь на земле жиреет да жизнерадуется: кто рыком, кто мыком, кто писком, кто щебетом, а кто — коли голосом обойден, так и взлягом радость издает.

Про люд — божье подобие и говорить нечего. Такой народ ядреный, да мордастый ходит, просто закачаешься... Еще бы, после этого харча, да жизни вольготной не подняться!

Если на кого прогневается — не пеняй: и грому же нагонит, — хоть живьем в землю зарывайся — изведет.

Только и слышно: «Илью подать сюда»...

Придет Илья, к притолке прижмется, насупится, молчит, — вечно угрюмый, говорят: с перепугу с ним сталось, когда с земли на небо живьем везли,—боялся, как бы с колымаги не свалиться.

Сам-от его гоняет, гоняет, и такой, и сякой, грит, в бараний рог согну...

Все больше за ослушанье: накажет какого человека поразить, а Илья из жалости стрелу-то в дерево пустит, — промахнулся, мол.

Старик ослушников не жалует.

Пойдет Илья, заворчит-заворчит, — с сердцов-то, такую грохотню поднимет, что и богоявленская свечка не задобрит.

Иной раз, для острастки, и Косариху пустит. Поплюет она в руки, размахнется, да как почнет народ косить, — вò какие стога намечет... Останутся от людей кое-где окоски, а там, глядишь, через годок-другой, и в приплод пойдет.

Жалеть нечего.

На расправу с чертями больше Михайлу Архангела шлет, — этот сноровистей и проворней Ильи; ему — гловорезу, все равно кого бить, лишь бы бить. Как пойдет чертей шерстить и направо и налево, только скрежет зубовный, да паленой шерсти запах несется.

Что говорить, — старик строгий.

## II

Состарился, прихварывать стал, не прочь бы всю заботу наследнику единородному передать, а самому и на спокой пора бы.

Да, боязно, — растащат... Вишь, сынок-то не в отца задался, уж больно мягкосерд. Попроси кто,

хоть нательную рубаху с него, — отдаст и не задумается, а сам голышом останется.

Простота-то похвальна, да не всегда принаровиста.

С человеком ухо востро держи: прикинется этаким лазарем скорбным, — ты ему душу распахнул, а он в грязных сапогах втюрится, наследит, да еще вдосталь насмеется: «вот, мол, простофилю нашел»...

Кажись, уже разок на человеке нажегся, а все неймется: николи, говорит, не поверю, чтобы человек не исправился...

Дело было так:

Пристал к отцу: отпусти, да отпусти, батюшка, хочу, дескать, меж людей потереться уму-разуму поучиться.

Не пускал старик — долго отговаривал: не дело-де замыслил.

Куда тебе, уперся на своем: «хочу, да и вся недолга».

— Ну, что ж, ступай, коли в перешивку попадешь, меня не вини.

Пришел на землю, торнулся к людям, а те совсем освинились...

Вот думает: я им слово неслыханное скажу, — враз заживут по-человечьи...

И только было рот открыл, а люди мигом на крест: «отправляйся с богом, откуда пришел», — каково?! Да, человеку палец в рот не клади.

## III

Сам не в духе, с постели что ли левой ногой встал, сон ли не в руку приснился: с утра тучами хмурится, голосом громовым грохочет. Сидит на престоле — позевывает, зевок ураганом на землю летит — крушит, ломает творенье человеческое.

Прилетел Гаврила-Архангел с вестями с земли.

Взъерошенный, перо не к перу, чисто с петушиного боя вернулся.

Пред самим и ниц не распростерся, вот до чего с перепугу дошел, — память отшибло. Стоит крыльями машет, глазами хлопает, а вымолвить не может: язык порушился.

— Опять Гаврила зашибать стал... мотри у меня, я те крылья-то обкарнаю!..

У ангелов только и радости, что полетать, без крыльев дело дрянь.

— Бу... бу... бу...

— Говори толком, что за оказия вышла?..

— Бу... бу... бу...

— Окатить водой!..

Вмиг за крылышки, да в воду с головой окунули.

Фыркает, отряхивается, — брызги радугой отливаются.

Заговорил:

— Господи, беда!.. раздобыл Человек ковер-самолет и носится, точь-в-точь птица свободная...

— Как он, дерзновенный, смог завет мой преступить, коли я крыльями птиц окрылил!..

— Господи, и птица взлета его не достигает!..

Переполох средь святых:

— Господи, отыщет он дорогу звездную в рай, отымет силу — могущество твое, не дай погибнуть рабам твоим...

— Я альфа и омега!.. — загремел господь.

Трах-тах-тах... тарарах... — раскатились слова его по поднебесью...

— Ураганом смету с лица земли род непотребный!.. Огнем-молнией очищу землю от скверны его...

— Батю-шка... — взмолился сын.

— Конец долготерпенью моему! .. Эй, архангелы, берите трубы златокованные, трубите от четырех ветров гласом громогласным, возвестите миру о конце его.

Затрубили архангелы, — трубы заржавели, — не звук, — мышиный писк слышен ...

Мечет, рвет господь:

— Богуслова подать!

Расписал в книге Богуслов, — наслушил людей концом света, а по-писанному не выходит, что легко перу, тяжело — топору.

Пришел Богуслов с книгой скорописной.

— Жри книгу! ..

— Господи ...

— Жри! ..

Давится Богуслов, все же до аминя обработал: бог-от не свой брат! ..

Кипит господь:

— Лейте серу горючую — дождем, сыпьте камень — градом, да погибнет все и на земле, и в земле, и над землей!

А святые рады стараться, куда как ретиво за работу принялись: катят бочки серяные, рушат горы каменные.

## IV

С земли люд стал примечать, будто что-то на небе неладное творится: месяц вышел средь бела дня и с солнышком в спор, — мне светить, и никаких резонов не принимает, застит солнышко и только.

Звезды, словно высевки из решета посыпались.

Облака, как ласточки крылом, пò-земи зачиркали, инеем на деревьях нависли.

Старики дивуются: сколь годов на свете живем, такого чуда видом не видали, слухом не слыхали.

Потом, ка-ак захлещет дождь огневой, да град каменевой зашлепает, инда мать сыра-земля лихоманкой затряслась, чуть-чуть было с китов не скувырнулась. Красный петух так и запрыгал со стройки на стройку, скотинка — падалью валяется.

Землица — чисто коленка бабья гладкая: ни злаков, ни корму.

И пошел на убыль народ, и выдохся бы весь, кабы за ум не взялись.

Ведь, если вошь не укусит, — мужик в затылке не почешет.

Сгрудились, кто цел-невредим остался. Вестимо, невредимым расторопный да проворный очутился, и мерекают:

— А не повернуть ли нам, братцы, землицу другим ликом?..

— Где нам, — усомнился кто-то.

— Да мы всем миром: что одному тягота — миру плевок...

Поналегли — где грудью, где стяжок подсунут, и повернули.

Божьи приказчики — попы загуторили:

— Нельзя, православные, волю божью преступать, с коих веков землица в наших местах яловой гуляет, — не родит, значит, господь испытует, — терпите...

— Все бог, да бог везде, мы теперь без бога своим разумом поживем... Раем только по губам мажете, не то попадешь, не то нет...

Без бога — можно, а уж без рая, все равно, что без чайной, никак не обойдешься: где же тогда отдохнуть-повальяжничать.

Почесали, почесали затылки, — вошью с гашника не раз на ногте щелкнули, — все-таки надумали.

— Давайте-ка, братцы, какой ни есть раишко, да свой построим...

— Во-вò... и то дело...

Сказано сделано:

Тяпнули-ляпнули, там приткнули, тут воткнули, авось, говорят, небось проживем как-нибудь...

И зажили ни хорошо, ни худо, ни бедно, ни богато: сыты, одеты, обуты — чего ж больше человеку и надо.

На работу, точно птицы на зерно, стаей слетаются и работу песней подгоняют.

Коль захребетник появится, этак воробушком языком зачирикает, а от дела отлынивать почнет, — спровадят.

Худая трава из поля вон.

И живут себе не тужат...

«Ну, — думает господь, — задал же я перцу людям, то-то страху божьего нагнал, пора и со славой на землю показаться»...

Тронулся господь и сына с собой прихватил, за ним вся сила небесная валом повалила, только пыль столбом поднялась.

Вступил на землю, так и опешил: хотел перекреститься — ни креста, ни церковки, всюду стройка, да такая замысловатая, — трубы чуть небо не подпирают.

Вокруг все поля, да поля: кои зеленью, кои желтизной отливают, кои колосом отучнели.

— На ком же пашут: животина вся побита, — размышляет господь.

Глядь, по полю напрямки ползет Змей-Горыныч, — пыхтит, искрами пышет, поле бороздит.

Михаил Архангел было за копье.

Господь удержал: дай срок — навоюешься еще.

Сбили народ.

— Вот сынок мой, — показал перстом господь.

— Что же, дело хорошее, — и у нас сыновья с дочерьми есть...

Сын сразу за добрые дела.

— Приведите нищию братию, милостыню подам...

Таращит глаза люд:

— Кака-така нищая братия, — все мы братья в труде и дележе...

— Вы из коих мест будете? — пытает господа люд.

— Отныне царство мое созижду здесь.

Как порох от искры, вспыхнул народ:

— Нет больше царства на земле, есть братство трудовое!

— Я — бог ваш!.. — загремел господь.

Сила небесная в прах:

— Всемогущ ты, господи!..

А народ и шапки не ломает.

— А-а, так это ты бог!? «К стенке» его!..

— Что вы, православные, белены налопались, что ли.

— «К стенке»!!.

Ка-ак подхватил господь полы и наутёк, — откуда только прыть взялась.

# СОДЕРЖАНИЕ.


| | Стр. |
|---|---|
| Чудо | 7 |
| Летропикация | 15 |
| Петушок | 29 |
| Заковыка | 37 |
| На Волге | 44 |
| Червяк | 54 |
| Клопы | 68 |
| Агитаторы | 73 |
| Герои | 81 |
| Волчий зуб | 91 |
| Болото | 123 |
| Маринка-искусница | 134 |
| Коммунист | 141 |
| Осада | 150 |
| Жена | 161 |
| Дед Еремей | 170 |
| Седьмой бес | 180 |
| Грех | 189 |
| Бурыля | 198 |
| Черника | 215 |
| Сороки | 221 |
| Безбожница | 230 |
| Житие Федосьевны | 236 |
| Ефрейтор в раю | 247 |
| Сказ о мужике Акиме | 252 |
| Господь спить | 259 |
| Господь в гостях | 264 |
| Конец света | 270 |

# КНИГИ
# ТОГО-ЖЕ АВТОРА

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Заковыка** | — рассказы | 1-е | издание, | „Кузница", | М. | 1923 | год. |
| " | " | 2 | " | " | " | 1923 | " |
| " | " | 3 | " | „Зиф" | " | 1925 | " |
| " | " | 4 | " | " | " | 1927 | " |
| **Дубье** | " | 1 | " | " | " | 1924 | " |
| " | " | 2 | " | " | " | 1925 | " |
| " | " | 3 | " | " | " | 1927 | " |
| **Райское житие** | — сказки | 1-е | издание, | „Кузница", | М. | 1923 | год. |
| " | " | 2 | " | " | " | 1923 | " |
| " | " | 3 | " | „Зиф" | " | 1923 | " |
| " | " | 4 | " | " | " | 1925 | " |
| " | " | 5 | " | Моск. Т-во Пис. | " | 1928 | " |
| **Задиристые рассказы** | | 1 | " | „Зиф" | " | 1925 | " |
| **Лисьи горы** | | 2 | " | Моск. Т-во Пис. | " | 1928 | " |
| **Байки Антропа** | | | " | " " " | " | 1927 | " |
| **Т. Т.** | — повести | | " | " " " | " | 1928 | " |

**Чертополох** — роман (готовится к печати)

**Собрание сочинений**, том I „Наопако" Моск. Т-во Пис. 1928 год.

" " II (готовится к печати)

" " III " "

" " IV " "

**Пьесы.** Издание Московского Пролеткульта. 1922.

24551

*Цена 2 р. 35 к.*

н81

МОСКОВСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО
ПИСАТЕЛЕЙ
*Москва 9, ул. Герцена, 22*
*Тел. 4-40-58*